Невыдуманные истории. Веселые страницы из невеселого

Юрий Арамаисович Ерзинкян

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Весёлые и грустные байки от режиссёра Юрия Ерзинкяна и его друзей. Про кино, людей исскусства, Сталина и Хрущёва и многое другое.

- Юрий Ерзинкян
  - ○

Юрий Ерзинкян

Невыдуманные истории. Веселые страницы из невеселого дневника кинорежиссера

Жене Лилии -неизменному свидетелю невыдуманных историй

Как-то во время тоскливых ожиданий съемочной погоды, возник обычный в таких случаях долгий неторопливый разговор. Вспоминали веселые истории, интересные встречи, добрых людей, щедро одаренных талантом и юмором.

Случилось так, что в этот день мне вспомнилось больше, чем другим.

– Ты, попробуй, запиши все это, получится забавная книжка, – посоветовал кто-то.

– А если не получится?

– Ну и что? Ведь и с фильмами не всегда «получается».

Довод мне показался убедительным.

* * *

Из Одессы мы вылетели на рассвете.

Мы – это Грачья Нерсесович Нерсесян, художник Валентин Подпомогов и я.

В пути нас застигла гроза. Старенький, изрядно потрепанный ИЛ-14 кидало из стороны в сторону с отчаянной силой. Пассажиры, откинувшись на спинки сидений, дружно стонали.

Грачья Нерсесович чувствовал себя превосходно. Глаза его сверкали юношеским блеском. Он громко, на весь самолет, пел любимую «Санта Лючию», всем своим существом демонстрируя способность пребывать в «публичном одиночестве»…

В Сухуми прилетели с опозданием. В самолете что-то разладилось и его отдали во власть суетливых людей в засаленных комбинезонах.

Наскоро позавтракав, мы отправились кататься на лодке. Я и Валя сели за весла, а Грачья Нерсесович, удобно устроившись на

корме, стал раскуривать глиняную трубку. Трубку эту он купил перед самым вылетом в аэропорту у старушки-молдаванки. Забыв, по-видимому, что это произошло на наших глазах (или не придавая этому значения), Грачья Нерсесович невозмутимо утверждал, что трубку ему подарил старый араб, с которым они якобы встречались сорок лет назад в Алеппо, и который научил его удивительной песне.

Лодка бесшумно скользила по зеркальной глади залива. Нерсесян молча курил свою трубку и задумчиво глядел вдаль.

– А знаешь, Нерсесович, во-он там Константинополь! – прервал его невеселые думы Валя Подпомогов.

– Да, да…

– Хочешь, махнем туда, поглядим что там делается? – всерьез предложил Валя.

Грачья Нерсесович оживился:

– А на самолет мы не опоздаем?

Он поглядел в сторону аэродрома, словно и впрямь хотел удостовериться в том, успеем ли мы вернуться к вылету самолета.

… В тот день, как и следовало ожидать, из Сухуми нас не выпустили. Заночевали в небольшом абхазском домике на сваях. Всю ночь не переставая лил дождь. Мы долго не могли уснуть. Грачья Нерсесович рассказывал удивительные истории. Слушая его, трудно было угадать, где правда, а где вымысел, рожденный безудержной фантазией.

Потом Грачья Нерсесович запел песню – протяжную песню, полную неутешной грусти – добрую песню старого араба.

Закончив песню, мастер, не глядя на нас, сказал:

– Не верите… Ни во что не верите… Ни в старого ара-

ба, ни в его трубку… Ни в то, что он научил меня песне. А песня существует, понимаете, су-ше-ству-ет!. .

Нерсесян очень похоже передразнил Валю:

– «Махнем в Константинополь…» Не умеете мечтать по-человечески, фантазировать…

Он с минуту помолчал, а потом с улыбкой добавил:

– А я вот этой ночью побываю в Константинополе…

Грачья Нерсесович лег, повернулся к стене и ушел с головой под одеяло. Я невольно подумал – кто знает, может именно в этом нерсесяновском свойстве разгадка могущества его таланта.

* * *

В 1959 году работали мы над фильмом «Голоса нашего квартала» по сценарию Перча Зейтунцяна.

Обстоятельства помешали фильму сложиться. А жаль, фильм,

думается мне, мог стать событием в жизни студии. Мог, но не стал. Но не об этом сейчас речь.

В тот вечер, о котором я хочу рассказать, снимали мы один из особенно важных для картины эпизодов. Сцена, казавшаяся нам безупречной в литературной записи, никак не находила своего экранного воплощения. И когда мы испробовали все, как нам казалось, возможные ее решения, Перч неожиданно предложил:

– Вот тут у меня небольшой рассказ… Может попробуем его снять вместо злополучного эпизода?.. Совсем небольшой,

всего четыре страницы… Послушайте!

Он прочитал нам трогательную новеллу об ученике ремесленного училища, получившем свою первую зарплату, и сварливом, черством на первый взгляд, а на самом деле добром и отзывчивом старике, сумевшем понять и оценить значительность этого события.

Новелла всем понравилась.

Но кто сыграет старика?. .

Несмотря на поздний час, мы отправились к Нерсесяну.

Грачья Нерсесович еще не спал. Выслушав нас, он охотно согласился сразу же поехать на студию, при этом незаметно, для домашних понимающе подмигнул нам – ловко,' мол, вы это придумали. Оказавшись в адашине, Грачья Нерсесович весело рассмеялся:

– Здорово мы разыграли наших. Все были в полной уверенности, что вы на самом деле увозите меня на съемку.

Он торжествующе потирал в ладонях четки:

– Куда мы едем? К кому?

– Как куда? Мы же сказали – на съемку!

Так снялся в одной из своих последних и, на мой взгляд, самых значительных ролей Грачья Нерсесян.

* * *

Как-то перед съемкой я спросил у Нерсесяна, что он думает об одном из эпизодов фильма, как ему представляется его решение.

Грачья Нерсесович неопределенно пожал плечами.

– И все-таки, что ты намереваешься делать в кадре?

Мастер улыбнулся:

– У сороконожки, говорят, спросили что происходит с ее тридцать второй ногой в то время, когда ее девятая нога делает шаг вперед. Сороконожка задумалась и…разучилась ходить.

* * *

Осенью сорок первого в театре Сундукяна состоялась премьера патриотической пьесы, не помню теперь, как она называлась. Роль немецкого офицера была поручена Грачья Нерсесяну.

В середине первого акта на сцену вышел Нерсесян в форме нациста. И тогда произошло невероятное. Зал взорвался аплодисментами. Зрители дружно приветствовали любимого артиста. И так каждый раз, на каждом спектакле. Лютая ненависть к фашистам не мешала зрителям встречать каждый выход Нерсесяна (пусть даже в эсэсовском мундире) бурными, долго несмолкающими аплодисментами.

Эта фанатичная любовь к артисту возымела свое действие – Нерсесяна сняли с роли.

* * *

Не помню как это случилось, то ли Грачья Нерсесович что-то недополучил по договору, то ли увеличился объем роли и ему причитался дополнительный гонорар. Словом, получил он деньги «неучтенные» Алван (так звали жену мастера).

– Есть предложение. Едем на вокзал, в хинкальную…

Спорить с Нерсесяном в подобных случаях было бесполезно.

В хинкальной Грачья Нерсесович обнаружил, что денег нет. Видимо, он выронил их в пути. Трудно было допустить, что деньги украли – популярность Нерсесяна была «общенародной» (в том числе и у карманников).

Потеря эта, впрочем, нисколько не огорчила Грачья Нерсесовича:

– Денег дома не ждут, значит скандал не предвидится. А что касается хинкали – какое имеет значение, кто за них заплатит…

Где-то за полночь Нерсесян добрался домой. Жена встретила его «подозрительно приветливо».

– Деньги получил?

Нерсесян насторожился:

– Помилуй, какие?. . До зарплаты десять дней…

– Деньги, говоришь, не получал?. . А это что?!

Алван швырнула на стол пачку ассигнаций. Этого никак не мог ждать Грачья Нерсесович.

И снова подвела популярность. Заботливые карманники, видимо, опасаясь, что и в их среде найдутся «нечестные», выкрали у Нерсесяна «плохо лежащие» деньги и… принесли жене.

* * *

Близились к концу съемки фильма «Второй караван».

На студии «Грузия-фильм» снимали мы эпизоды картины с участием Грачья Нерсесяна.

Бекназаров нервничал, спешил. Один за другим закрывались фильмы. Амо Иванович понимал, что этой участи не избежать и нашей картине.

И, как на грех, запил Нерсесян.

Бекназаров поручил мне, как он выразился, «негласный надзор» за Грачья Нерсесовичем. Поселил нас в одном номере. Я не сводил глаз с мастера.

Каждое утро, после «безалкогольной» ночи, мы с Грачья Нерсесовичем завтракали в буфете гостиницы и, не заходя в номер, отправлялись на студию. Где обнаруживалось, что… Нерсесян пьян. Каким образом он умудрялся напиться? Когда? Я ни на минуту не оставлял его одного, а при мне он не прикасался к спиртному.

Разгадка пришла сама собой. На следующее утро, во время завтрака, я заметил, что с моего стакана чая поднимается пар, а с нерсесяновского – нет.

Как выяснилось, Грачья Нерсесович договорился с официантом, чтобы тот приносил ему вместо чая коньяк.

Так дурачил меня Нерсесян в течение нескольких дней.

* * *

В 1957 году это было. В один из субботних вечеров в театре Сундукяна был объявлен спектакль «Живой труп» с участием Ваграма Камеровича Папазяна.

Но в седьмом часу вечера в кабинете директора раздался телефонный звонок. Взволнованный женский голос сообщил, что Папазян внезапно заболел.

До начала спектакля оставалось немногим больше часа, нужно было принимать срочные меры.

Правда, роль Протасова кроме Папазяна играли Вагаршян, Нерсесян и Джанибекян. Но кто из них согласится заменить Ваграма Камеровича Папазяна? Как отнесутся к этой замене зрители?..

Вагарш Богданович, как и следовало ожидать, отказался, сославшись на простуду.

Отказался и Джанибекян.

Нерсесяна разыскали на киностудии. Грачья Нерсесович только отснялся в сложном, трудоемком эпизоде. Снимали тогда «Песню первой любви».

Мастер очень устал, и…

Всю дорогу в театр Грачья Нерсесович ругал себя за «непозволительную мягкотелость», «идиотскую сговорчивость»…

Придя в театр он поспешно оделся, загримировался и включил репродуктор внутренней радиосети. Он заметно волновался. В репродукторе приглушенно и, как казалось Грачья Нерсесовичу, «подозрительно тревожно» гудел, переполненный до отказа зал.

И вот, знакомый бас Давида Мелкумовича Маляна сообщил о вынужденной замене.

Произошло непредвиденное. Во всяком случае то, чего никак не ждал Нерсесян.

Зал потряс грохот аплодисментов. Зрители долго, дружно скандировали – Нер-се-сян!.. Нер-се-сян!.. Нер-се-сян!..

Никогда не играл так Протасова Грачья Нерсесович, никогда – ни до, ни после того субботнего вечера осенью 1957 года.

* * *

В суровом военном сорок четвертом мне посчастливилось в течение года находиться в творческом соприкосновении с замечательным кинорежиссером Борисом Васильевичем Барнетом – быть в числе его учеников, единомышленников, друзей…

Снимал Борис Васильевич тогда, в сорок четвертом, фильм «Однажды ночью». Пожалуй, первым, нарушая сложившиеся традиции, Барнет попытался рассказать о войне, о нравственных особенностях советского патриотизма тихим, задумчивым, чуть грустным голосом. И, вероятно, поэтому фильм «Однажды ночью» не сразу был оценен по достоинству.

О Барнете в те годы в кинематографических кругах рассказывали легенды. Его считали режиссером исключительным, необыкновенным, даже гениальным…

Сергей Михайлович Эйзенштейн шутил:

– У нас на Руси три царя – Царь-Колокол, Царь-Пушка и… Царь-Режиссер – Борис Барнет.

Барнет был удивительно красив и гармоничен.

Гигантская, плотно сколоченная фигура атлета. Большая, красивая голова. Высокий лоб, правильный, с чуть раздутыми ноздрями, нос. Удивительные глаза – то задорно-сияющие, то лукавые, то печальные…

Барнет был человеком большой и сложной культуры – необыкновенной одаренности. Одаренности синтетической. Он был равно талантлив в литературе, живописи, актерском искусстве…

Барнет был неисправимым мечтателем. За ним незаслуженно утвердилась слава человека легкомысленного – репутация фантазера.

“Легкомыслие» Барнета заключалось в «неразборчивой» любви ко всему живому, броскому, неординарному – нарушающему сложившиеся представления о «солидности» и «добропорядочности» .

«Бесхарактерность» – в покорности «превратностям режиссерской судьбы», во «всеядности», которая порой приводила беспокойного художника к неудачам.

Барнет бесконечно любил жизнь. Любил страстно, активно – во всех ее проявлениях. Любил живопись и спорт, поэзию и женщин, кинематограф и скачки…

Все его картины были рождены жизнью.

Все они утверждают, прославляют жизнь.

* * *

…Встречали мы Барнета всей съемочной группой. Не терпелось увидеть прославленного режиссера.

Из обшарпанного, скрипучего «международного» вагона вышел высокий, широкоплечий, красивый человек средних лет. Он, как нам показалось, был не по времени франтоват. Весь в «кремово-белом», тщательно отутюженном. В руках держал небольшой фибровый чемодан с «заграничными» наклей-ка7-:и, трость.

Он по-дружески обнял каждого из нас и, не церемонясь, спросил:

– Друзья! Где можно выпить?. . И хорошо бы, без проволочки… А в гостиницу мы всегда успеем…

Мы – я, художник Эдуард Исабекян, журналист Сисон Мартиросян, водитель машины Спирт-Галуст (он должным образом оценил «мудрое» предложение режиссера) и… Барнет тут же отправились в «фирменную» забегаловку на улице Абовяна.

Неопрятный дощатый павильон был до отказа набит подвыпившими, громко галдящими, небритыми завсегдатаями заведения. Барнет в своем светлом плаще, фетровой шляпе с тростью в руках выглядел здесь «белой вороной».

С помощью локтей, мы протиснулись к стойке. Буфетчик, не глядя, протянул нам по пол-литровой банке мутного, горьковато-сладкого портвейна.

Барнет был в восторге, после «безалкогольной» Москвы

он вдруг оказался в «портвейновом раю».

… Опорожнив очередную банку портвейна, Эдик Исабе-кян

заспорил с пьяным соседом. Сосед, недолго думая, «врезал» банкой Эдику в скулу. Эдик взвыл от боли. По лицу его растеклись струйки крови, смешиваясь с портвейном. Завязалась пьяная драка.

Барнет не спеша снял плащ, шляпу, отложил в сторону трость. В «боксерской стойке» нанес «смутьянам» нокаутные удары. Трое верзил, словно мешки набитые песком, грохнулись на грязный, прогнивший пол, перепуганные «дружки» кинулись врассыпную.

Борис Васильевич вышел на улицу, разыскал милиционера.

– Вот тут, эти… подонки… Пришлось утихомирить… – Барнет кивнул на верзил.

Блюститель порядка мгновенно проникся уважением к «мощному режиссеру», выволок парней и, с помощью восхищенных зевак, погрузил их на патрульный «Джипп».

* * *

Каждую неделю Борис Васильевич устраивал у себя «литературные пятницы». На этих «пятницах» мы впервые услышали о Гумилеве, Цветаевой, Мандельштаме. Услышали об Исааке Бабеле.

Долгие вечера Борис Васильевич читал нам, своим картавым басом, стихи удивительных поэтов, рукописи одесских

рассказов Бабеля. Рукописи замечательного писателя он свято хранил, в надежде на «лучшие времена»…

Читал нам Барнет эти откровения в годы, когда даже само упоминание этих имен могло навлечь беду.

Как-то, прощаясь, Борис Васильевич, не глядя на нас, сказал:

– Друзья, я понимаю, чем грозят эти чтения… стоит ко-му-либо из вас… из нас…

Барнет помолчал.

– Пусть будет, что будет… но вы должны знать… Обязаны знать, что существовало подобное чудо – оклеветанное, оплеванное, упрятанное за решетку…

* * *

На роль лейтенанта Христофорова Барнет пригласил Бориса Андреева. Снимался тогда Борис в Батуми, в фильме режиссера Мачерета – «Я – черноморец».

Несмотря на согласие Андреев все не приезжал. Не отвечал и на настойчивые телеграммы. Барнет стал подумывать о замене. И тогда, к всеобщей радости, от Андреева пришла телеграмма:

«Вылетаю сегодня тбилисским зпт встречайте тчк Борис».

Барнет, будучи хорошо знаком с «образом жизни» артиста, приволок в гостиницу бочонок с мутно-рыжим портвейном, запасся виноградным самогоном, которым бойко торговал швейцар «Интуриста» – «профессор Кероб».

Борис приехал не один, с женой Галей и дочкой Галишкой.

Против обыкновения он был мрачен и неразговорчив. Не прикоснулся ни к портвейну, ни к водке. Что вызывало крайнее удивление и «паническую озабоченность» Барнета.

На наши вопросы Борис не отвечал, упрямо отмалчивался. При этом бормотал себе под нос что-то невнятное, похожее на молитву…

На пятый день, уступив нашим уговорам, Борис рассказал, что приключилось с ним в Батуми:

– Встретили меня торжественно, всей подвыпившей съемочной группой. Сокрушались, что опоздал, съемки, мол, задерживаются …

Поселили в пустующей гостинице на окраине Батуми, вблизи городского кладбища. Снабдили водкой и… напрочь забыли о моем существовании. Поначалу я был рад этому. Отоспался. Потом… запил. Пил в одиночестве. Остервенело. Без закуски (откуда ей взяться?).

Три дня и три ночи блаженствовал. Дорвался до «бесконтрольности» (Галя осталась в Тбилиси) и… водки.

Четвертой ночью мне почудилось, что кто-то зовет о помощи. Крик, как мне показалось, доносился с кладбища.

Я тут же «догадался» – по ошибке похоронили живого. Заснул, несчастный, летаргическим сном, а родные решили – помер… А тот проснулся и, понятно, вопит благим матом…

Опрокинул я, для храбрости, стакан водки и на кладбище.

Бежал, как очумелый, разбрызгивая лужи, увязая в грязи – вторые сутки, не переставая, шел проливной дождь.

На кладбище я разыскал свежую могилу. Прижался ухом к мокрой насыпи и «услышал» сдавленный стон.

Разыскал кирку, лопату и стал лихорадочно откапывать «заживо погребенного». Копал, пока не свалился на откопанный краешек гроба и заснул тяжким, беспокойным сном.

Очнулся от ощущения, что тону, захлебываюсь.

В могилу, мутным потоком, устремились ливневые дожди, заполняя ее до краев. Отчаянно ныла грудь – меня придавило крышкой гроба. Рядом «плескалась» старушка-покойница.

Нечеловеческими усилиями я выбрался из могилы, и…

Утром меня, мечущегося в белой горячке, увезли в «психушку». К счастью, как это случалось и раньше, я скоро

«отошел»…

Вот и вся история, грустно улыбнувшись, закончил свой невеселый рассказ Борис.

* * *

Ростов встретил нас зловещей тишинои комендантского часа, леденящим светом маскировок, отсутствием тепла, еды и… водки.

Последнее особенно огорчало Барнета.

И вот, однажды, к своей неописуемой радости, Борис Васильевич обнаружил в аптеке на Буденовском довоенные залежи «Пантокрина».

По утверждению инструкции, несколько капель этого чудодейственного препарата способны избавить «от половой слабости и сексуального безразличия».

Конечно же не эти свойства препарата привели в восторг Барнета, а то, что настоен он был на чистом спирту.

Борис Васильевич приволок в гостиницу несколко ящиков «Пантокрина». Пили мы, тогда молодые здоровые парни, эту дьявольскую микстуру по несколько флаконов в день.

Нетрудно представить, что следовало за этим…

* * *

Это была первая «забегаловка» в освобожденном Ростове. В ней согласно объявлению, нацарапанному на сером, с кусочками древесины, картоне, можно было получить «сто граммов в одни руки».

К наспех сколоченной будке, с небольшим, зияющим чернотой, отверстием тянулась длинная, раскачивающаяся из стороны в сторону, шумногалдяшая, пьяная очередь. Опрокинув стопку, очередной охотник «надраться» тут же пристраивался к концу очереди…

Как-то после съемки мы с Барнетом оказались у «забегаловки». Выпив положенные сто граммов, Барнет потянулся к карману. Под плащом блеснули «Железные кресты» (Барнет снимался в своем фильме в роли фашистского генерала – Бальца).

«Кресты» не ускользнули от внимания «бдительного» будочника. Он дружески подмигнул Борису Васильевичу и, бесцеремонно захлопнув дверцу отверстая перед самым носом очередного «жаждущего», пригласил нас в кишку-подсобку.

– Вижу вы люди хорошие, – сказал он, ставя на стол зеленую бутылку с невзрачной этикеткой и редкостную в те времена

закуску – соленый, дурно пахнущий огурец.

Будочник выскользнул из подсобки и… запер нас на замок. Будучи в полной уверенности, что «застукал важную птицу» (тогда такое случалось нередко), он помчался в комендатуру-

Поняв, что будочник принял нас за «фрицев», мы громко рассмеялись.

Барнет раскупорил бутылку:

– Пей. Разберутся – отберут.

Не прошло и десяти минут, как будочник вернулся в сопровождении юного, безусого лейтенанта и двух автоматчиков. Скрываясь за их спинами, парень кивнул в нашу сторону:

– Вот они, братцы, хватайте!

Лейтенант подскочил к Барнету и резко распахнул плащ. «Кресты» на груди Барнета сверкнули эмалевым блеском.

Сопровождающие лейтенанта солдаты вздернули автоматы.

Обстановка становилась угрожающей. Пора было кончать комедию. Борис Васильевич протянул лейтенанту удостоверение личности. Взглянув на него с явным недоверием и, как мне показалось, с некоторым разочарованием, лейтенант, посоветовавшись с автоматчиками решил «для порядка» отвести нас в комендатуру, где и закончилась эта забавная история.

* * *

Шли заключительные съемки фильма «Однажды ночью». Снимали неделями не выходя из павильона. Как всегда бывает в кино, «поджимали» сроки. Группа изнемогала от усталости и, несмотря на дьявольские перегрузки, трудилась «в поте лица».

В ночь на новый, сорок пятый год силы окончательно покинули «барнетовцев». Съемочная группа в полном составе… уснула «на рабочем месте». Уснули у «пятисоток» осветители. У камеры – оператор Сергей Геворкян со своими ассистентами. Спали артиста – Ирина Радченко, Борис Андреев, Иван Кузнецов, Николай Дупак…

Спали гримеры, «звуковики», ассистенты режиссера…

Спал, прижав к груди винтовки, оружейник «лейтенант Вовочка».

Без пятнадцати двенадцать нас пулеметной очередью разбудил Барнет. Он умудрился один, без чьей-либо помощи, накрыть по тем временам роскошный стол.

Веселье длилось до самого рассвета. Произносились тосты «мирного времени». Пели «полублатные» песни, которым нас выучил Веня Кузнецов…

А утром снова прозвучала привычная «картавая» команда

– «Мотор!»

* * *

Массивные стенные часы (приданое Ларисы Орданской

– именно она в том году была женой Барнета) пробили полночь.

Все, что можно было выпить, еще час назад было выпито. Кто-то сбегал на Киевский вокзал, но, как и следовало ожидать, вернулся без водки.

Воцарилось тягостное молчание.

За стеклом буфета маячила, дразнила своим ослепительным спиртным блеском огромная бутыль, в которой плавали рыжие ветвистые корни.

Взоры всех присутствующих были прикованы к буфету.

– Женьшень, сами понимаете, корень жизни… Ларискина затея… – неуверенно сопротивлялся Борис Васильевич.

Все обреченно молчали. Ждали.

Удручающую неловкость нарушил Алексей Денисович Дикий:

– Так что, Боря?. . Мы пошли, или как?. . – кивнул он на бутыль.

– По-о-жалуй, по-ойдем… – вздохнул Игорь Савченко.

Барнет прошелся по комнате. Поглядел в окно на гололед

мостовой. Потом решительно направился к буфету. Разлил содержимое бутыли по рюмкам. Извлек корень женьшеня.

– Отличная закуска, – подмигнул он повеселевшим друзьям. – Представляю, как разозлится Лариса… И поделом – пусть не занимается глупостями.

* * *

Новый 1948 год я и писатель Михаил Шатирян встречали в Москве, в доме Бориса Васильевича. В ту памятную ночь было произнесено множество достойных тостов. Выпито огромное количество коньяка. И, когда были исчерпаны все тосты и выпит весь коньяк, Барнет запальчиво заспорил с Ша-тиряном. Тот пытался отстаивать сюжетные ходы нашего сценария. Борис Васильевич громил их со страшной силой, рушил, как карточные домики. Умел он это делать с необыкновенной «доказательностью» даже тогда, когда был неправ (как мне кажется, и в этом случае – сценарий явно этого не заслуживал).

В третьем часу Алла Александровна (супруга Барнета) собралась спать:

– Боря, не забудь утром купить молоко Ленке, мне не

проснуться.

Барнет молча кивнул ей и, когда жена скрылась за дверью, облегченно вздохнул. Извлек из-за томиков Чехова «заначенную» бутылку. Разлил коньяк по рюмкам с аптекарской точностью (это, пожалуй, единственное, что делал он с подобной дотошностью).

А потом… выяснилось, что «заначена» не одна бутылка…

На рассвете Борис Васильевич пошел провожать нас к Киевскому метро.

– Я, это… за молоком… Алла велела, тут ничего не поделаешь… – словно оправдываясь, сказал он. И надо же было случиться такому.

Навстречу нам в предутреннем тумане ползла тучная кривоногая корова. За ней еле поспевал большеголовый теленок.

Барнет, не раздумывая, устремился к хозяину коровы, который, спешил на новогоднюю ярмарку.

– Сколько пол-литров дает эта особа? (излюбленная емкость Барнета) Почем корова?. . Без теленка, конечно, им обоим в ванной не хватит места, – скороговоркой выпалил Борис Васильевич тщедушному человеку в ватнике.

Тот затянулся самокруткой и промычал сквозь зубы:

– Ни-и… Без теленка не пойдеть… Как это без его можно?. . Без его нельзя…

Мы молча наблюдали за этим неожиданным торгом. Спорить с Барнетом в подобных случаях (впрочем, как и во всех других) было бесполезно.

… К тому времени, когда Борис Васильевич приволок корову к себе на Можайку, огромный, многоэтажный дом кинематографистов еще не спал.

На балконы своих квартир высыпали соседи, друзья – Галя и Борис Андреевы, Игорь Савченко, Столперы, Алексей Дикий, Иван Пырьев и Марина Ладынина…

Приученные к «художествам» Барнета, они шумно галдели

– советовали, как сподручнее втолкнуть корову в лифт.

– Ты, пле-е-чом… Плечом подто-олкни… Коро-ову, а по-о-том телку… – по пояс свесившись с балкона, заикался Савченко.

Почти час потребовался на то, чтобы Барнет убедился в том, что корову (даже ему – Барнету) на седьмой этаж не поднять.

Борис Васильевич махнул рукой и, сопровождаемый шутками и смехом окружающих, отправился к себе отсыпаться, оставив корову и теленка на наше попечение.

Злополучную корову и ее пучеглазого отпрыска в тот же день за полцены сбыл на «Скотном базаре» друг наш, кинорежиссер Генрих Оганесян – по самоличному признанию «понимающий толк в подобных деликатных акциях». К ним он, мол, «с детства

приучен»…

* * *

В сорок девятом это было. Мне поручили самостоятельную постановку полнометражного художественного фильма. Нетрудно представить мое воодушевление и радость. В те годы дебют молодого режиссера в «большом кинематографе» был событием почти невероятным.

Барнет охотно согласился прочитать сценарий. Обещал с помощью «могучих связей» утвердить его в министерстве кинематографии.

Спустя два дня я позвонил Борису Васильевичу.

– Могу тебя обрадовать, я все уладил, – картаво пробасил в трубку Барнет.

Я тут же помчался в министерство.

Большаков принял меня сразу (видимо, сработали «могучие связи»).

– Барнет прав, сценарий никудышный. Он решительно непригоден для вашего дебюта, – сказал Иван Григорьевич…

По-своему истолковав мою растерянность, министр добавил: |

– Не волнуйтесь. Сценарий мы отклоним – это избавит вас от неприятных объяснений с вашим руководством.

* * *

… Пил Барнет всю ночь напролет. Пил «по-черному». В мрачном одиночестве. Не оказалось рядом даже Михеича, неизменного свидетеля пьяных, бессонных ночей.

Сохранилась запись-до боли знакомые слова – «Не пей!»

… Строки разных лет – фразы из писем, подписи под рисунками, дарственные надписи на фотографиях.

Рисунок, сделанный в сорок четвертом, в Ереване. Мой портрет. Текст на лицевой и оборотной стороне листа:

«Дорогой, хороший Юрик! Этот плохой рисунок (см. на обороте) является доказательством необходимости работать и работать.

Вот результат того, что я не работаю. Вы не похожи и рисунок ГО….Й.

Нарушайте все заповеди, кроме одной – НЕ ПЕЙ!!!

Б.Барнет. 27 V 44г.»

Другой рисунок. Автопортрет мастера. И снова:

«ЕЩЕ РАЗ НЕ ПЕЙ!

Б.Б. 7 VII 44г.»

О художнике Валентине Подпомогове:

«Этот курносый армянин с русской православной фамилией, станет выдающимся художником (если не сопьется, конечно). Он обладает уникальным, врожденным даром рисовальщика-виртуоза .

ВАЛЯ – НЕ ПЕЙ!»

* * *

В Москве, в начале сорок пятого завершались съемки фильма «Однажды ночью». Строили последнюю декорацию в пустом неотопленном павильоне «Мосфильма».

Случилось так, что я, по мнению Барнета, в чем-то провинился – «сморозил такое, что…»

Барнет обрушился на меня всей своей «матерной» мощью. Я, тогда, бросил все – картину, незавершенную декорацию и… махнул в Ереван.

Борис Васильевич был вне себя от моей «чудовищной неблагодарности».

А затем… написал мне «покаянное» письмо. Только удивительной, барнетовской добротой и отходчивостью могли быть продиктованы эти строки:

«Дорогой Юра! Пишу вам, пишу, телеграфирую – как в пропасть. Если рассердились на меня, то прошу вас – простите. Если бы меньше любил Вас – меньше и разозлился…»

Письмо завершалось все тем же заклинанием – «ЮРА НЕ ПЕЙ!!!»

… Та, последняя ночь Мастера была тяжкой, муторной, беспросветной. И оборвалась она нелепо, не достойно «одержимого жаждою творить».

– Э-эх… Не сладил Василич с бедой… – размазывая по сухим, морщинистым щекам кулаком слезы, причитал Михеич, ночной сторож, отставной майор (жил Барнет в Риге в правительственном охраняемом доме).

– Как же это так… За что бога позлобил, мил человек… Жить тебе да жить…

Так нелепо, недостойно ушел из жизни могучий художник. Ушел «не сладив с бедой».

Прожил Барнет свою бурную, неоднозначную жизнь неисправимым бунтарем и закончил ее «бунтом».

Хоронили Мастера «буднично», без почестей.

Бунтарей на Руси издавна не миловали…

* * *

Страшно ВСПОМНИТЬ» – так, обычно, начинали свой рассказ о встречах со Сталиным:

Михаил Чиаурели:

… Случилось это осенью сорок седьмого. Впрочем все по порядку.

Семьи Джугашвили и Чиаурели дружили многими поколениями. Это, собственно, и определило отношение ко мне Иосифа Виссарионовича. Сталин не скрывал своего расположения ко мне, интереса к моему творчеству…

Приезжая в Москву (жил я тогда в Тбилиси), я бывал в Кремле, на «Ближней даче» – участвовал в застольях вождя, пил с ним «Напареули», играл в шахматы…

Так продолжалось несколько лет.

В сорок пятом Сталин подарил мне свой портрет, выполненный известным фотографом Моисеем Напельбаумом с дарственной надписью:

«Мише. Верю тебе. Ценю твой талант. И. Сталин.»

Были, правда, и «омрачающие» наши отношения ситуации:

Я все еще жил в Тбилиси. Как-то оказавшись в Москве я позвонил Поскребышеву и попросил организовать мне встречу со Сталиным. Работал я тогда над сценарием «Клятвы» и частенько пользовался «директивными» советами вождя.

Сталин пригласил меня отобедать с ним на «Ближней». Приглашение на дачу считалось проявлением особого расположения хозяина к гостю.

Встретил меня Иосиф Виссарионович в саду:

– Почему ты один? А где Верико?

Сталин имел ввиду жену мою – артистку Верико Анджапаридзе. Я решил отшутиться (как выяснилось – неудачно).

– Иосиф Виссарионович, какой дурак ездит в Тулу со своим самоваром.

Сталин нахмурился:

– Мой дом не Тула, Верико – не самовар… Приедет жена, тогда и приходите.

Сталин резко развернулся и быстрыми шагами направился к даче.

Или, вот еще:

После премьеры «Клятвы» Сталин пригласил меня и Михаила Геловани к себе.

У Геловани возникла «идея»:

– А что если я поеду к Иосифу Виссарионовну в его костюме и гриме?. . Это, пожалуй, позабавит вождя.

Сказано-сделано.

Увидев этот маскарад, Сталин помрачнел:

– За одним столом вполне достаточно одного Сталина,

– и обращаясь к генералу Власику, резко сказал. – Отвезите этого шутника в гостиницу и хорошенько отмойте. Чиаурели вам поможет.

… Было это поздней осенью сорок седьмого, где-то в девятом часу в моей квартире раздался телефонный звонок. Приглушенный вкрадчивый бас сообщил, что на проводе Сталин.

– Ну как, научился играть в шахматы?. . Могу преподать урок, бесплатно… – знакомо сострил Сталин.

Игра затянулась за полночь.

– Переночуешь у меня, а утром продолжим партию. .

Хозяину возражать не полагалось.

Сталин швырнул на кожаный диван подушку, плед, и, не глядя на меня, сказал:

– Да, все забываю тебе сказать, Берия видел во сне, будто ты готовишь на меня покушение.

Меня бросило в холодный пот. Я инстинктивно сделал шаг к двери, но тут же осекся.

Сталин сделал вид, что не замечает моего замешательства. Зашторил окно, погасил светильник. Не спеша разделся, лег. Включил ночник. Долго раскуривал трубку. Раскрыл томик Пушкина и погрузился в чтение.

Пять мучительных, казавшихся вечностью, часов я проле-

жал на спине, сдавив дыхание, боясь шелохнуться – что если Сталину почудится недобрым мое…

На рассвете Сталин отложил книгу, выключил ночник и, повернувшись к стенке, сказал:

– Ты что не спишь?. . Это я так, пошутил… Ведь это только сон, пусть Берии… А ты, я вижу струсил… Выбрось эту чепуху из головы… Пока ты исправно проигрываешь в шахматы, Берия тебе не страшен.

Сталин, уткнувшись в подушку, беззвучно рассмеялся.

* * *

Дмитрий Налбандян:

В ноябре 1947 года торжественно отмечалось тридцатилетие Октября. Были подготовлены две праздничные экспозиции произведений изобразительного искусства. Одна в Третьяковской галерее, другая, рангом ниже, на Кузнецком мосту, в выставочном зале Союза художников.

У входов на обе выставки, естественно, висели портреты Сталина. В «Третьяковке» – Александра Герасимова, на Кузнецком

– мой.

Каждое утро я приходил на выставку поглядеть, как оценивают «моего» Сталина зрители.

Однажды, придя в обычный час на Кузнецкий, я не обнаружил портрета. На огромной стене вестибюля красовался одинокий железный крюк.

Директор-распорядитель выставки рассказал мне о том, что произошло прошлым утром, днем, вечером, а затем ночью.

Вчера, еше до открытия выставки ее посетил Тито. Внимание высокого гостя привлек портрет Сталина. Он отметил «поразительное сходство портрета с оригиналом, и в то же время монументальное величие образа вождя».

Тито пообещал «сегодня же рассказать Сталину о портрете».

А потом, все стало разворачиваться словно по добротно сработанному сценарию.

В середине дня позвонил Храпченко, председатель комитета по делам искусств – поручил «срочно подготовить портрет к транспортировке в Кремль».

К концу дня, он, не скрывая волнения, сообщил, что портрет понравился «самому».

Портреты незамедлительно «рокировали». «Герасимов-ский» перебрался на Кузнецкий, а «мой» в Третьяковскую галерею.

А спустя два дня меня повезли на дачу к Сталину. В большом овальном зале зубаловской усадьбы был накрыт пышный стол. У стола «толпились», подумать только, Молотов и Берия, Микоян и Ворошилов, Маленков и Жданов…

Был здесь и счастливый Храпченко. Незнакомые мне, высокие военные чины.

Все присутствующие «пожирали глазами» массивную дверь в глубине гостиной.

Не прошло и пяти минут, как дверь распахнулась, вошел Сталин и твердой походкой направился ко мне.

– Налбандян? – спросил он, пристально смотря мне в глаза. – Был в Тифлисе социал-демократ Серго Налбандян… машинист… Он тебе не родня?

И спросил он как-то «заковыристо» – «социал-демократ», а не, скажем, большевик, коммунист… скажи я ему – «есть у меня такой родственник», а Сталин – «провокатор он, предатель»…

Все это «прокрутилось» в моем мозгу в считанные доли секунды.

На обдумывание не было и мгновенья. Сталин ждал, нервно покусывая мундштук трубки, «сверлил» меня колючим взглядом.

– Нет, Иосиф Виссарионович, нет у меня такого родственника…

Сталин усмехнулся в усы:

– Жаль, очень жаль… Преданный был большевик… верный наш друг… погиб в семнадцатом, – словно дразня меня, сказал он в пространство. И снова, как-то странно, с ухмылкой посмотрел на, вытянувшихся в струнку, своих «верных соратников», едва заметно кивнул мне и… покинул гостиную.

Спустя несколько минут в гостиную вошел Поскребышев и сообщил, что аудиенция окончена.

Все, словно по команде, тесня друг друга, устремились к выходу.

Гостиная мгновенно опустела.

… Прошло много лет. Вспоминая тот, неоднозначный для меня, вечер я все больше утверждаюсь в том, что поступил правильно, «отрекшись» от «социал-демократа Серго Налбандяна».

Кто знает, что было на уме у хозяина. Луша Сталина – потемки.

* * *

Леонид Варламов:

Шестого ноября сорок первого в подземном вестибюле станции метро «Маяковская» происходило торжественное заседание, посвященное двадцать четвертой годовщине Октября. Под огромным мозаичным пано «нескладно» разместился стол президиума. В президиуме – «вожди» в полувоенных костюмах. В зале красноармейцы и командиры в тулупах, вешенках, ушанках…

В воздухе хоть топор вешай. Пахло овчиной, кирзовыми сапогами и еще черт знает чем.

Мы, группа кинодокументалистов, снимали это необычное, суматошное торжество для фильма «Битва за Москву».

В перерыве заседания ко мне подошел Маленков и, «строго конфиденциально», сообщил, что завтра, седьмого ноября решено провести на Красной площади парад, как он выразился – «в пропагандистских целях – нужно успокоить народ»…

Маленков заметно волновался:

– Перед частями, отправляющимися на фронт выступит Сталин. Я надеюсь, вы понимаете всю ответственность стоящих перед вами задач.

Я был изумлен – парад на Красной площади?. . Москва опоясана «наглухо» фашистскими полчищами. Город ожесточенно штурмуют «мессершмидты». По Волоколамскому шоссе движутся колонны танков, рассчитывая ворваться в столицу, не

останавливая моторов…

И, словно подтверждая мои невеселые мысли, сверху донесся приглушенный рев вражеских самолетов и едва слышные разрывы авиационных бомб.

Утро выдалось морозное, колючее. Мела, кружилась поземка. Площадь была заполнена, вся, «до краев» квадратами войсковых подразделений. У камер «приплясывали» на сорокоградусном морозе кинооператоры. «Звуковики» возились у ветхого магнитофона, которому предстояло выполнить «историческую миссию» – записать речь вождя. Кремлевские куранты отбили десять ударов.

На трибуну мавзолея поднялся Сталин, в сопровождении «верных сынов отечества».

На площади, хриплым ревом, пронеслось мощное «Ура-а-а!»… Отозвалось громким эхом, повисло в морозном воздухе.

Сталин не спеша вынул из кармана небольшие листки и стал медленно, негромко читать текст речи – речи, которая «при нашем участии» должна была стать достоянием «всего прогрессивного человечества».

Мерно стрекотали камеры. Скрипели бобины магнитофона. Все было нами «выверено в деталях», «разыграно» на летучке.

Сталин говорил. Мы снимали, записывали его речь.

В моих контрольных наушниках приглушенно звучал его голос.

И вдруг произошло нечто ужасающее. В наушниках возник невнятный хрип, затем свистящие «ускоренные» обрывки сталинских фраз, снова громкое невнятное шипение и… все смолкло. Наступила зловещая тишина.

Я бросился в аппаратную. То, что я там увидел, было потрясающим. «Взбесившийся» магнитофон все еще в ожесточении кромсал магнитную пленку, расшвыривал ее обрывки по тесной клетушке. Звукотехники безуспешно пытались «унять изверга»…

Я тут же сообщил о случившемся генералу Власику, начальнику личной охраны Сталина. Генерал побелел и, не сказав ни слова, кинулся наверх, на трибуну. Не прошло и минуты, как с трибуны спустился Молотов. Он в паническом испуге выслушал меня и, заикаясь, попросил Власика пригласить Берию. Мне пришлось повторить свой рассказ и Берии. Тот зловеще сверкнул стеклами пенсне.

– Диверсию исключаешь?

– Самым решительным образом, Лаврентий Павлович.

– Допустим. И что же делать?

– Иосифу Виссарионовичу придется повторить свою речь

перед микрофоном… В любом помещении…

Молотов взвизгнул:

– Вы… вы с ума сошли… Это Сталину-то… Кто осмелится предложить ему подобное… Вы ответите по всей строгости закона…

Берия взял под руку Молотова, и, по-прежнему сохраняя самообладание, сказал мне:

– Я сведу тебя со Сталиным. Ты ему это сам и предложишь. Если он согласится – проблем нет. Ну а если… мы тебя расстреляем…

Берия как-то странно посмотрел на меня и, как мне показалось, улыбнулся.

… Сталин выслушал меня спокойно. Набил трубку. Закурил. Подошел к письменному столу, вынул из среднего ящика знакомые листки. «Взвесил» их на ладони. Швырнул обратно в ящик.

Я не сводил глаз с вождя. От его решения зависела моя судьба. Что судьба – решалось жить мне или не жить…

За моей спиной стоял Берия. Ждал что скажет Коба?. . Какое примет решение?

И тут произошло невероятное. Ко мне подошел Сталин и прошипел:

– Несите ваш дурацкий микрофон.

Три дня спустя в «Известиях» был опубликован Указ Верховного Совета. Меня наградили очередным орденом – «За выдающиеся заслуги в деле развития Советского киноискусства».

* * *

Каждый новый фильм, до выхода на экраны, смотрел… Сталин. Смотрел предвзято, раздраженно, ворчливо. Исключение, пожалуй, составляли комедии Ивана Пырьева.

После каждого просмотра Сталин, с садистской дотошностью, распекал Ивана Григорьевича Большакова, министра кинематографии. Просмотры эти становились для Большакова невыносимыми. Сидя в небольшом, тускло освещенном, «сталинском» зале он мучительно «вычислял», в какую дверь выйдет на этот раз. В ту, в которую вошел или в правую, рядом с экраном, «курируемую» ведомством Берии, ведущую… на «Лубянку».

И чтобы довести до минимума эти невыносимые, по определению министра – «предынфарктные просмотры», он ежегодно, под разными предлогами, сокращал производство фильмов.

В этот злополучный пятьдесят первый Большаков довел их до… семи.

И именно тогда, в сорок первом, в числе многих других «закрыл» и фильм Бекназарова – «Второй караван».

А между тем, картина складывалась, обещала быть значительной, проблемной… Работал над фильмом Амо Иванович с завидной самоотдачей, не жалея сил и таланта.

Картину закрыли тогда, когда съемочная группа вот-вот должна была выйти на финишную прямую. Закрыли, не объяснив толком причин.

Амо Иванович был раздавлен безжалостностью, жестокостью свершившегося. Он долго сражался с «чудовищной несправедливостью». Всеми силами пытался доказать Большакову «преступность этого решения»…

Убедившись в своем бессилии, он пригласил нас, членов съемочной группы, к себе на ереванскую квартиру. Долго, смущенно, как бы оправдываясь, говорил о том, какая могла бы сложиться картина…

Никогда, ни до, ни после того вечера, мне не приходилось видеть Амо Ивановича таким увлеченным, ярким, одухотворенным.

Спустя неделю Бекназаров уехал из Еревана.

Уехал с тем, чтобы больше сюда не возвращаться.

* * *

Одно из «монументальных» полотен Дмитрия Налбандяна изображало очередной «исторический» форум Страны Советов.

Руководители партии и правительства, гости из Китая – на лестнице, ведущей в Георгиевский зал Кремля.

Происходило это в годы тревожные, неоднозначные. Один за другим «разоблачались враги народа», (в том числе и окружающие Сталина на картине). И тогда, Дмитрий Аркадьевич старательно переписывал «врага» в… китайца.

Спустя год полотно выглядело так:

В центре композиции – Сталин, рядом с ним пять-шестъ его «соратников», а вокруг – китайцы, в синих форменных кителях. Множество китайцев…

Картину переименовали.

«Сталин с посланцами Великого Китая» – так она стала называться.

А через года два, по случаю каких-то торжеств, картину подарили Великому Кормчему – Мао.

Говорят, она и теперь украшает один из залов Центрального

Комитета Коммунистической партии Китая.

* * *

В 1976 году Дмитрию Аркадьевичу Налбандяну исполнилось семьдесят лет. В связи с юбилеем художнику присвоили звание Героя Социалистического Труда. Наша группа, снимавшая фильм о художнике, (как обычно случается в кино) опоздала на церемонию вручения наград.

– Не беда, – успокоил нас Налбандян. Он набрал телефон помощника Подгорного.

– Вася, это я – Налбандян. Тут мои земляки снимают фильм обо мне… опоздали на вручение «Звезды»… А без этого, сам понимаешь… попроси шефа, вручить снова… Чего ржешь?… Что тут смешного?… Ты доложи хозяину – твое дело телячее…

Против ожидания – «хозяин согласился».

В «торжественной обстановке» Подгорный «снова» вручил «другу Диме» высокие награды.

Снимал фильм оператор «запасливый». По его настоянию, Подгорному пришлось, стереотипно улыбаясь, привинчивать к лацкану пиджака юбиляра «Золотую звезду»… пять раз! (Всякое случается во время проявки материала).

Что только не сделаешь «для хорошего человека».

* * *

… Налбандяну позвонили из Кремля. Попросили написать… «семейный портрет» Леонида Ильича Брежнева.

Через неделю композиция была готова. Леонид Ильич был изображен в окружении родных и близких.

Во время «торжественного просмотра» Брежнев вдруг, к всеобщему неудовольствию, помрачнел. Обращаясь к Налбандяну, он раздраженно сказал:

– Ты посмотри, посмотри, сколько у меня звезд?! А у тебя сколько? Ты посчитай…

Налбандян, к своему ужасу, обнаружил, что «у него» на одну звезду меньше. Он тут же, на глазах у повеселевшего генсека, пририсовал недостающую звезду.

Леонид Ильич потянулся к рюмке с коньяком:

– А вообще-то недурно… недурно… Молодец! Похоже, похоже…

Брежнев прищурился:

– Ты пририсуй еще одну… впрок, так сказать… Эти, – он кивнул в сторону Подгорного и Громыко, – обещают ко дню

рождения новую…

* * *

Арно не только писал музыку.

С поразительной самоотдачей «модно» повязывал галстуки друзьям, придавал форму фетровым шляпам, своим и не своим, стриг гостей, ремонтировал замысловатые зажигалки. Не осилив испорченную, он возвращал приятелю новую, купленную втридорога, при этом утверждая, что зажигалка «та самая», исправленная. Писал абстрактные картины, которые в его коллекции уживались с полотнами Мартироса Сарьяна, Павла Кузнецова, Александра Бажбеук-Меликяна, Минаса Аветисяна… Играл в шахматы с гроссмейстерами и на уровне гроссмейстеров… Все это он делал одержимо, творчески, талантливо. Но главной страстью Арно была, пожалуй, демонстрация забавных историй, случившихся (и не случившихся) с ним, его друзьями, соседями, знакомыми. Именно, «демонстрация», а не рассказ – настолько байки Арно были образны, пластичны, зримы…

Музыкант «убил» в Арно великого комического артиста.

* * *

В шестьдесят восьмом снимали мы фильм «Мосты через забвенье». Один из эпизодов картины происходил в самолете. По ходу действия бандиты затевали в воздухе, воображаемую героем фильма, драку. Сцену предполагалось снимать пародийно, комически. Арно напросился на роль экспансивного, драчливого, и в то же время трусливого пассажира. Сыграл он с зажигательным юмором, ярко, пластически выразительно. Увлеченные его импровизацией, мы «накрутили» сотни метров крупных планов потешного драчуна. «Зрители» – Владимир Басов, Валентина Титова, Станислав Чекан, Людмила Гла-дунько и другие участники съемок – встретили эту неожиданную импровизацию дружными аплодисментами. Как обычно бывает в кинематографической практике, не все кадры, сыгранные Арно, вошли в окончательную редакцию фильма, но и те, что остались, свидетельствуют о его очевидном актерском таланте.

Еще в начале сороковых годов Арно поражал нас, его друзей, изящными авторскими изложениями классических произведений. Музыкальными шутками, пародиями, шаржами… И позднее, работая с ним над музыкой к фильмам «В поисках адресата» и «Песня первой любви», я был свидетелем того, как в один

присест, за несколько минут сочинялись удивительные песни. Они подхватывались «на лету». Пелись всей страной…

* * *

В один из осенних московских вечеров 1946 года мы ужинали в ресторане «Метрополь». Мы – это я, Арно, Лаэрт Вагаршян и Генрих Оганесян. Где-то в одиннадцатом часу в зал вошел голубоглазый блондин в форме офицера военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Он, широко жестикулируя, направился к нашему столу, приветствуя «своих братьев» на армянском языке. Это был Арман Малумян, герой вооруженных сил Америки, человек легендарной судьбы и огромного обаяния. Познакомились мы с ним в Ереване, на съемках фильма о возвращении зарубежных армян на Родину. Арман подозвал официанта и, протянув ему доллары, заказал шампанское и… гимн США. Тот удалился, не скрывая удивления посетителем и его заказом. Вскоре официант вернулся с шампанским и, помявшись, сообщил, что вторую часть заказа он выполнить не в силах: «Оркестр американскому гимну, к сожалению, не обучен, а нот, сами понимаете, нет. Вот если бы вы…»

И тогда, Бог мой, произошло невероятное. На эстраду поднялся Арно. Делал он это и раньше, в полночь, перед закрытием ресторана, музицировал в сопровождении оркестра, вызывая восторг посетителей. Он победно оглядел зал и, не торопясь, стал играть американский гимн. Играл громко, торжественно, вдохновенно. Гимн заполнил зал, повис в воздухе. Мы оцепенели от ужаса…

Вернувшись домой, мы долго молча сидели в комнате ком-

позиторов. Никто не решался заговорить первым.

– Ну, пьян был… Да и что тут плохого… Американцы – наши союзники, – оправдывался Арно.

Страх и отчаяние достигли апогея, когда мы узнали, что Арман Малумян – «агент ЦРУ, матерый шпион и провокатор»

– арестован и выдворен из страны.

Так, в ожидании чего-то страшного, непредсказуемого прожили мы месяцы, находясь «под колпаком» молодчиков с Лубянки.

* * *

В сорок девятом снимали мы документальную ленту «Им нужен мир!» На изображение решили «наложить» «Героическую балладу» Арно. Однако, сделать это оказалось непросто.

«Драматургия» очерка не вписывалась в «драматургию» музыкального произведения. Студийный музоформитель Саша Арутюнян «перемонтировал» «Героическую». Финал переместился в начало, медленная часть следовала за быстрой, торжественной и снова звучала торжественная…

Мы с тревогой ждали встречи с Арно. Его реакции на это «бесчинство».

… По ходу просмотра гнев и возмущение Арно, сменилось изумлением, а затем и нескрываемым интересом. Досмотрев фильм, Арно беззлобно сказал:

– Надо же… где этот бандит, который так со мной расправился?. .

Он громко рассмеялся:

– А что? Может быть и такое…

Арно подмигнул нам:

– Мою музыку не так-то просто испортить…

* * *

Было это в мае 1957 года, в Москве. Записывали музыку к фильму «Песня первой любви». Дирижировал оркестром, по определению Арно «ленивый бездельник», а на самом деле одаренный, молодой тогда музыкант, впоследствии известный оперный дирижер. Человек волевой и своенравный, он решительно запретил Арно «вмешиваться не в свои дела». «Загнал» композитора за стекло, в микшерскую. Однако, «не вмешиваться не в свои дела» Арно не мог, не позволяла «клиника». Он, незаметно для дирижера, знаками дал понять музыкантам, что будет дирижировать… носом. И чтобы те не сводили глаз с кончика его носа, «игнорируя» дирижерскую палочку. Так происходило до тех пор, пока «это безобразие» не заметил дирижер. Он тут же прекратил запись и потребовал, чтобы Арно покинул зал. Тот не стал спорить и «гордо удалился», попросив Зарика Сарьяна, своего соавтора, «проследить за халтурщиком».

И до, и после выдворения Арно музыка была записана отлично и, при прослушивании… вызвала шумный восторг композитора.

* * *

Таким был Арно. Взрывной, молниеобразный, непредсказуемый… каждая встреча с его искусством становилась праздником всегда и повсюду. Призвание и слава сопутствовали

Арно «с пеленок», не оставляли в течение всей многотрудной, неуемной жизни, полной радостей и печалей. Трудно «вычислить» чего было больше… Он ушел в вечность, обрел бессмертие, «уготовленное» лишь избранным, «штучным», великим…

* * *

В тридцать девятом году кинорежиссер Арташес Ай-Ар-тян снял комедию «Люди нашего колхоза». По мнению автора, картина отвечала «всем требованиям времени». Однако, вопреки ожиданиям Ай-Артяиа, фильм в Москве, в наркомате кинематографии СССР, был подвергнут резкой критике. Раздосадованный режиссер «с горя» напился и… послал телеграмму Сталину, в которой «грозился», в знак протеста против «вопиющей несправедливости», покончить жизнь самоубийством. Послал телеграмму и… на выходной день (это было в конце «шестидневки») отправился к подмосковным друзьям на шашлык, не подозревая, чем это может обернуться.

Получив телеграмму помощник Сталина Поскребышев тут же позвонил наркому кинематографии Ивану Большакову и потребовал «обуздать наглеца». Разобраться и доложить о принятых мерах.

Два дня и две ночи окружение Большакова и соответствующие ведомства безрезультатно искали пропавшего. «Прочесали» всю Москву. Обшарили столичные морги…

Спустя два для «обиженный» режиссер появился в наркомате . Разгневанный Большаков не стал его слушать – издал приказ об «изгнании Ай-Артяна из кинематографа».

Перепуганный «штрафник» тут же помчался к Амо Ивановичу Бекназарову с просьбой заступиться за него. Бекназаров, понимая, что ему Большакова не уговорить, попросил Михаила Эдишеровича Чиаурели помочь Ай-Артяну. Расчет был точен – Большаков, зная о добрых отношениях Чиаурели «с самим», не упускал случая выразить ему свое расположение и привязанность…

… Выйдя из кабинета наркома, Михаил Эдишерович, обращаясь к Ай-Артяну, сказал:

– Все уладилось. Считай, что тебе приснился дурной сон…

Лицо Чиаурели расплылось в хитрой улыбке:

– Только вот у нас, у большевиков, так заведено: дал слово вождю – выполняй!

* * *

Сергей Михайлович Эйзенштейнн как-то сказал: «научить режиссуре невозможно, но научиться ей можно» – этими словами начинал свою книгу «Беседы о режиссуре» Михаил Ромм.

Именно эти слова были первыми, которые я услышал от Михаила Ильича в сорок шестом.

Тогда же, при первой нашей встрече, Ромм сказал:

– В помощи нуждаются люди талантливые. Бездарности

– отличнейшим образом пробиваются сами…

Ромм примирительно улыбнулся:

– Хочу верить, вам понадобится моя помощь.

Наши дальнейшие отношения с Михаилом Ильичом строились таким образом – я стремился доказать, что нуждаюсь в его помощи, он – удостовериться в этом.

Так продолжалось около пяти лет.

А затем возникла дружба.

В 1954 году, благословляя меня на самостоятельную работу, Ромм подарил свою фотографию с такой надписью:

«Милый Юра! Ларю тебе свою физиономию с любовью, а любовь, говорят, приносит счастье, которое так нам нужно. М.Ромм. Ереван. 26.9.54.»

* * *

Ромм верил в приметы. Верил увлеченно, азартно, «творчески»…

Он любил подолгу, обстоятельно рассказывать о том, что случится, если тебе перейдет дорогу женщина с пустыми ведрами, или ты на ночь глядя повстречаешь священника, перейдешь под приставленной к стене лестницей, найдешь на мостовой подкову…

– Правда, это теперь не часто случается. В наше время гораздо легче найти счастье, чем подкову, – шутил Михаил Ильич, и снова принимался, с присущей ему доказательностью, убеждать собеседников в неоспоримости его, роммов-ского толкования примет.

– Улыбаетесь. А что вы скажете об Иване Грозном?

И не дожидаясь ответа, Ромм продолжал:

– Всем известно, что Грозный приносит несчастье. Преуспевающий Зубов благополучно царствовал в Малом. И стоило ему затеять постановку «Великого государя», как он тут же провалился… Сергей Михайлович Эйзенштейн скончался, не дописав покаянной статьи в «Правду». Фраза оборвалась на полуслове…

Ромм был убежден, что несчастье приносит и «Пиковая дама».

-

Трижды Михаил Ильич намеревался экранизировать пушкинскую повесть и трижды самые нелепые и непредвиденные обстоятельства мешали ее осуществить.

В 1947 году, после очередной безуспешной попытки поставить «Пиковую даму», Ромм решил экранизировать пьесу Константина Симонова «Русский вопрос».

Верный себе, он уничтожил все экземпляры всех вариантов «невезучего» сценария, подарил «на всякий случай» кому-то из друзей томик Пушкина с «Пиковой дамой».

Около года длились съемки фильма «Русский вопрос». И все, казалось, предвещало удачу…

И вот, картина была вынесена на суд «Большого худсовета» (в те годы этот грозный орган действовал при наркомате кинематографии).

Трудно представить более единодушный разнос, чем тот, который был учинен фильму. Михаила Ильича обвиняли в умышленном нежелании увидеть «реакционную сущность продажной американской прессы…», в «чрезмерных симпатиях к Гарри Смиту и ему подобным донкихотствующим фразерам».

Ромму было предложено переделать картину «в строгом соответствии с рекомендациями худсовета».

Ромм не стал этого делать. Рекомендации, как утверждал он, противоречили симоновской концепции, художественой логике и, наконец, «его гражданским утверждениям».

Для окончательного решения судьбы картины ее отправили в Кремль. На суд Сталина.

Шли месяцы. Сталин фильм не смотрел.

Большаков по-прежнему требовал переделок. Грозился передать картину другому режиссеру.

… Как-то осенним вечером 1947 года собрались а доме на Большой Полянке друзья Роммов – Сугырин, Константин Исаев, Волчок, Маша Барабанова…

Говорили о разном. Конечно же и о приметах. О «Пиковой даме». Незаметно разговор перешел к «Русскому вопросу».

– Рано или поздно придется переделать картину. И, чем раньше ты это сделаешь, тем меньше будет принципиальных потерь, – не глядя на Ромма, сказал Волчок. Михаил Ильич не ответил. Он машинально вытянул ящик бюро, где лежали сценарные разработки, записи, раскадровки «Русского вопроса».

На всем этом лежал, непонятно откуда взявшийся сценарий «Пиковой дамы».

У Ромма от удивления подскочили кверху брови.

В сценарий был вложен конверт с письмом от Очередного

автора, очередной экранизации пушкинской повести – «Дорогой Миша! Посылаю вариант «Пиковой». Думаю, сейчас наступило «то самое время»…»

Как выяснилось, сценарий в ящик бюро положила дочь Ромма – Наташа, естественно, не подозревая, что может «такое случиться». Ромм не задумываясь швырнул сценарий в корзину под бюро.

Мы, следуя за его взглядом, посмотрели на стенные часы. Они показывали восемь пятнадцать…

Около полуночи раздался телефонный звонок. Звонил Большаков:

– Михаил Ильич! Я только из Кремля… Картину смотрел «сам»… Поздравляю с огромным успехом…

– Когда у Сталина возникло желание посмотреть фильм?

– В восемь пятнадцать позвонил мне Поскребышев и сообщил об этом…

* * *

Нарушая традиции ноябрьских торжеств, в сороковом Сталин распорядился, вместо юбилейного концерта показать в Большом «прославленным соотечественникам» фильм Ромма «Ленин в октябре».

В течение дня в театре оборудовали кинопроекционную систему. Было это не просто – качество изображения и звука оставляли желать лучшего. Это, естественно, вызвало озабоченность Михаила Ильича. Отчаянными усилиями многочисленных специалистов (приказ Сталина!) удалось добиться пристойного качества проекции. И только тогда, Ромм вспомнил, что не позаботился о пропуске на вечер. Пропуск ему раздобыл Власик в службе безопасности (видимо, из числа предназначенных тайной агентуре).

Ровно в пять (как было указано в пропуске) Ромм предстал перед офицером госбезопасности в «проходной И…»

Одет был Михаил Ильич, как и приличествует в подобных торжественных случаях, нарядно, при орденах и кинематографических знаках почета.

Начальствующий в проходной генерал оценивающе оглядел Ромма с ног до головы (он принял его за агента своего ведомства) и одобрительно сказал:

– Молодец! Здорово вырядился… Твои объекты – старик-академик с бородой и соседи, супруги-артисты. У мужа орден Ленина… Отвечаешь головой…

* * *

Ехал как-то Ромм по Арбату на «Мосфильм». У Вахтанговского в машину подсел Борис Васильевич Щукин. Они разговорились о предстоящих съемках фильма «Ленин в 1918 году».

Ромм подвез Щукина домой и продолжил путь на студию.

Водитель такси узнал Бориса Васильевича. Догадался, кто его пассажир:

– Вы это правильно сделали, товарищ Ромм, что на роль Ленина пригласили Щукина. Голос его очень похож на ленинский.

– Вы слышали Ленинаˆ – удивился Михаил Ильич.

– Не-ет… Когда Ильич был жив, я манку лопал…

– Откуда же вам тогда знать, какой был у Ленина голос?

– Как откуда?. . Я три раза смотрел картину «Ленин в Октябре».

Это поразительно – водитель знал, что роль Ленина в фильме играет Щукин и, следовательно, с экрана звучит его -

щукинский голос. И несмотря на это он воспринял голос артиста, как подлинный, принадлежащий Ленину.

Такова сила убедительности кинематографа.

* * *

На роль Макферсона Ромм собирался пригласить Михаила Федоровича Астангова. Думал, и все не решался. Ромму казалось, что Михаил Федорович слишком артистичен, благороден для Макферсона. В то же время он не видел в этой роли другого актера.

И вот, придя как-то утром в съемочную группу, Ромм «конфиденциально» сообщил, что на роль Макферсона будет пробоваться сам.

Проба была назначена на вечер того дня. Кроме оператора Бориса Волчка, на съемку были «допущены» второй режиссер Лев Аронович Инденбом и я.

Сцена выглядела так:

В кабинете Макферсона, в глубоком кожаном кресле, сидел невозмутимый Гарри Смит – Аксенов. Входил Макферсон

– Ромм. Одет он был подчеркнуто по-домашнему – без пиджака (хотя дело происходило в редакции), поверх белой, до блеска накрахмаленной рубашки с расстегнутым воротом, был одет жилет – темный, в широкую полоску. Это должно было выражать то ли пренебрежение шефа к провинившемуся

сотруднику, то ли «дружественность» предстоящего разговора.

Ромм-Макферсон садился край массивного дубового

стола. Поджимал под себя правую ногу, свешивал левую и, прежде чем начать разговор, долго испытующе смотрел на Смита поверх очков…

Я невольно улыбнулся – уж очень он мне показался похожим на провинциального портного. Ромм заметил мою улыбку. Он подошел ко мне и резко сказал:

– Ну? Говори!

– Правду?

– Конечно.

– Вы больше похожи на старого еврея из Бердичева, чем на всемогущего газетного босса.

Инденбом, удивительно деликатный, бесконечно влюбленный в Ромма, старик, икнул от удивления:

– Как вы смеете, молодой человек…(он впервые назвал меня так). Это… это неслыханно…

– Портной из Бердичева, говоришь? – Ромм громко рассмеялся.

… После просмотра проб воцарилось молчание. Все ждали, что скажет Михаил Ильич?

– А может, в том, что наш Макферсон похож на местечкового еврея есть свой смысл? – не сдавался Ромм, хотя, как мне показалось, он еще вчера решил не сниматься.

После паузы (тягостной для Инденбома) Ромм громко сказал:

– Передайте Астангову, пусть сообщит график занятости в театре.

* * *

Николая Охлопкова назначили заместителем министра культуры СССР.

– Как ты справляешься с этим высоким постом, Коля? – спросил у Николая Павловича Рубен Симонов.

– Подумаешь, велика важность. Я и королей недурно изображаю.

* * *

На одном из худсоветов в Вахтанговском Рубен Николаевич Симонов резко критиковал молодого актера.

– Не надо его ругать, Рубен, – обратился к Симонову Анатолий Горюнов. – Ты давно заслужил право хвалить.

* * *

… Редактор невозмутимо рассказывал «свою версию» нашего сценария. В углу комнаты, за журнальным столиком, сидел Виктор Борисович Шкловский, видимо, ждал кого-то. Он невольно прислушивался к нашему разговору. Дождавшись редакторской паузы, Виктор Борисович обратился ко мне:

– Не судите его строго. Нужно быть исключительно интеллигентным человеком, чтобы суметь воздержаться от соблазна исправлять чужие сценарии.

* * *

На первом учредительном съезде Союза кинематографистов СССР Сергей Апполинариевич Герасимов так закончил свое выступление:

– Пожалуй, единственное, что меня огорчает – на нашем съезде мало тех, кому меньше сорока.

– Они фильмы снимают! – громко крикнул из зала эстонский режиссер Юри Мююр.

– И мы снимаем фильмы, между прочим…

– Вот я и говорю, что вы снимаете между прочим, – «согласился» с Герасимовым Мююр.

* * *

У Эренбурга спросили, как ему понравился один из наших «престижных» фильмов. Илья Григорьевич, улыбаясь, сказал:

– Каждый раз, когда я во время просмотра просыпался, замечал, что фильм гениальный.

знав, что свою первую картину начинает снимать молодой тогда, теперь известный режиссер, Михаил Ильич Ромм сказал:

– Нельзя поручать фильм бездарности, он может получиться.

* * *

– Я придумал смешную ситуацию. Только вот боюсь, что получится как у Чаплина, – поделился своими «опасениями» с Роммом молодой комедиограф.

– Пусть это тебя не беспокоит. Как у Чаплина не получится, – успокоил его Михаил Ильич.

* * *

У Эйзенштейна спросили:

– Почему все обращаются к вам на «вы» и только один Николай Крючков на «ты»?

– Надо знать Колю. Для него «вы» – это когда много…

* * *

Арман Котикян был не на шутку расстроен: – Я только от шефа, – Арман Ананьевич кивнул в направлении кабинета главного режиссера, – он удивительно любезно встретил меня. «Присаживайся поудобнее», говорит, «рад тебя видеть, милейший. Готов быть полезен…»

Котикян озабоченно развел руками:

– Вот я и думаю, какую пакость он собирается мне преподнести?. .

* * *

Героиню фильма «Голоса нашего квартала» искали мы долго, нарушая все сроки, отведенные на подготовительный период.

Затянувшиеся поиски прервал приказ директора: «… Подготовительный период кончился, употребляйте имеющиеся актрисы».

Откуда ему было знать, что кроме глагола «употреблять» есть еще и другие. Более подходящие, уместные в этом случае.

До «переброски на кинематографический фронт», наш директор работал заведующим городской баней. И именно он «сочинил» небезызвестное объявление, которое в годы его правления висело над кассами мужского и женского отделений, вызывая бурную реакцию ереванских остряков.

Так оно выглядело:

«За употребление терщиц (терщиков) просьба платить в кассу».

* * *

Руководство нашей студии как-то обратилось к кинодраматургу Константину Исаеву с просьбой принять участие в доработке сценария молодого автора.

– Мы найдем форму, как вас отблагодарить, – сказал Исаеву в заключение разговора директор студии.

Константин Федорович прижал указательным пальцем очки к переносице и сказал:

– У меня был приятель, известный в Одессе хирург. Он в

подобных случаях говорил – «с той поры, как ввели в обращение денежные знаки, все иные формы благодарности утратили свой смысл».

* * *

В картине Григория Мелик-Авакяна «Зейтунский марш» рассказ о Ереване и ереванцах велся от имени бездомной, бродячей собаки.

Это «лихое новаторство» не осталось незамеченным.

В заключении Сценарно-редакционной коллегии студии было сказано:

«… К очевидным достоинствам фильма следует отнести то, что режиссер сумел посмотреть на нашу современность глазами собаки».

* * *

В послевоенном сорок шестом году нас, молодых тогда творческих работников республики, направили в Москву на учебу к видным мастерам столицы.

Композиторы, художники, режиссеры объединились в одну семью в Доме культуры Советской Армении, который удоб-

но расположился в одном из тихих переулков в центре Москвы – Армянском переулке.

Учеба налаживалась не сразу, нелегко. Новая, и в общем не всем понятная, система обучения встречала самые разнообразные организационные трудности.

У нас было много свободного времени, а главное, не находящей применения энергии. Энергия эта выливалась в «активный» юмор, бесконечные взаимные розыгрыши…

Заводилой всех затей и забавных историй был кинорежиссер Генрих Оганесян, человек неиссякаемого юмора и удивительной выдумки.

Как-то к нам в комнату поселили прославленного скрипача Авета Карповича Габриеляна. С раннего утра Авет Карпович брался за свой уникальный «Гварнери», любовно проводил ладонью по жухлому лаку скрипки и принимался за свои бесконечные пассажи. Они обычно длились по восемь-десять часов и всем казались невыносимыми.

Генрих мучительно изобретал способ розыгрыша – план «мести мучителю».

И вот, сам случай пришел нам на помощь. На Тишинском рынке мы встретили старушку, безуспешно пытающуюся продать

дрянную, дешевую скрипку.

Тут же родился план розыгрыша.

К удивлению старушки, мы, не торгуясь, обменяли свои хлебные карточки на скрипку.

План был прост. Решили утром, когда обычно Авет Карпович отправлялся умываться в коммунальную ванную, подменить скрипку. Затем была запланирована драка, во время которой один из нас, на глазах у Габриеляна, должен был расколоть «уникальную» скрипку.

Мы тут же представили выражение лица Авета Карповича и дружно рассмеялись.

Вечером, в комнате композиторов, во всех подробностях разработали план операции «Скрипка». Мне поручили подменить скрипку. Лаэрт Вагаршян должен был затеять ссору с Арно Бабаджаняном. В возникшую потасовку должны были включиться остальные. В пылу драки Генрих должен был схватить скрипку и запустить ее в Лаэрта…

Сказано-сделано.

На утро Авет Карпович пошел умываться. Я подменил скрипку. Лаэрт затеял ссору с Арно. В разгар «драки» в комнату вбежал Генрих и, на глазах у обезумевшего Габриеляна, швырнул в Лаэрта «Гварнери». Скрипка, пролетев мимо Лаэрта, врезалась в косяк двери и разлетелась в щепки.

Авет Карпович схватился за сердце, судорожно глотнул воздух; и повалился в кресло.

Поняв, что розыгрыш близится к концу и не имеет эффектного конца, мы кинулись к Генриху.

– Ты что, с ума сошел?. . Я еще не успел подменить скрипку, – прошипел я ему на ухо.

Генрих промычал что-то невнятное, качнулся, и отрешенно направился к двери.

Дружный смех присутствующих привел в сознание «пострадавших». Скрипка торжественно была вручена Габриеляну.

Не знаю, весело ли было в то утро Авету Карповичу и Генриху, но мы, помню, смеялись до упаду.

И каждый раз, когда доводится встречаться нам, участникам этой шутки, мы не можем сдержать смех. Перед нами тут же возникают трагикомическое выражение лица Авета Карповича и беспомощная растерянность Генриха, ставшего главной жертвой своей же выдумки.

* * *

Стрелки часов давно перевалили за полночь.

А Ваграм Камерович все рассказывал, рассказывал…

Рассказывал о Сальвинни и Элеоноре Лузе, о «Вакхапа-ках» в Арташате и Сирануйш, о своем дебюте в константинопольском театре – «на сцене того самого театра, где играл несравненный Адамян», о кинжале, которым пользовался великий трагик и который, «волею судьбы, достался ему – Папазя-ну»…

– Подумать только, стационарный театр наш насчитывает меньше лет, чем армянское театральное искусство столетий…

Папазян задумался.

– И как это никому не пришло в голову снять фильм о нашем многострадальном, поистине героическом театре, его самоотверженных тружениках.

Спустя неделю я прочитал Ваграму Камеровичу сценарную задумку. Меня тогда нисколько не смущало, что почти все в записи было придумано.

… Петрос Адамян, преследуемый янычарами Султана Га-мида, бежал из Константинополя и… умирал в ночном увеселительном заведении Парижа, на сцене которого дебютировала Сирануйш, а Папазян начинал свою актерскую деятельность в труппе бродячих французских комедиантов…

Ваграм Камерович молча слушал, зажав лицо ладонями. Трудно было угадать, что он думает о моей затее.

Я дочитал последнюю страницу и вопросительно уставился на него. Папазян не спеша докурил сигарету и неопределенно сказал:

– Да… Пожалуй, может быть и такой фильм. Только вот фамилии следует изменить. Очень уж вольно ты с нами обошелся. Впрочем, в молодости и я не щадил факты.

Он протянул мне свою книгу «По театрам мира». На титульном листе написал размашистым почерком:

«С верой, что эта книга поможет создать фильм о славных артистах нашей сцены. Ваграм Папазян. 1946 год. Москва».

* * *

Премьера фильма «Русский вопрос» в Центральном доме кино была назначена на 11 февраля 1948 года.

Арам Ильич Хачатурян обещал «Разразиться обстоятельной речью». Он намеревался высказать «добрые слова в адрес

Ромма». Рассказать о его методе организации творческого процесса фильмосложения. О роли музыки в кино по-Ромму.

Утром, по своему обыкновению, Арам Ильич развернул «Правду» – на первой странице жирным шрифтом было набрано «Постановление ЦК ВКП(б) об опере «Великая дружба» Вано

Мурадели. Постановление громило оперу. Изничтожало его, Хачатуряна, вместе с Прокофьевым и Шостаковичем.

Пересилив себя, Арам Ильич пришел на премьеру. Устроился в одном из задних рядов партера. Несмотря на настоятельные уговоры Ромма, на сцену не поднялся. Ему, естественно, было не до речей.

… Ту ночь, удивительно емкую и содержательную, мы провели в доме Арама Ильича. Мы – это я и Манук Баблоян, тогда директор студии «Союзмультфильм».

Пока мастер сооружал «банкетный стол», я стал разглядывать кипу «парадных фотографий». На них Арам Ильич был изображен при всех регалиях – с орденами и лауреатскими медалями. Вернувшись из кухни, Арам Ильич застал меня за этим занятием. Он, как мне показалось, ошутил неловкость, – очень уж «не ко дню» были эти фотографии. Арам Ильич, как бы оправдываясь, сказал:

– Это… Самвел Хантикян прислал… Из Еревана…

Он выбрал одну из фотографий и надписал:

«Дорогому Юре Ерзинкяну на память и с пожеланием пышного расцвета его дарования. От Арама Хачатуряна. 12 февраля 1948 г. Москва.»

Манук с завистью наблюдал за тем, как Арам Ильич надписывал мне свой портрет. Это не ускользнуло от внимания Хачатуряна. Он отобрал фотографию и… надо же такому случиться, забыл, как зовут нашего нового друга. С минуту длилась неловкая пауза. Прервал ее дверной звонок. Пришел Вано Ильич Мурадели. Он был одет по-домашнему. Грузную фигуру облегал синий спортивный костюм (жил он в том же доме, выше этажом). Вано Ильич был по обыкновению шумен и весел (в этот-то день!). В пальцах мощных рук он сжимал полдюжины бутылок «Цинандали».

– Надо же обмыть это историческое решение нашей партии…

Он хитро подмигнул Хачатуряну. Придирчиво оглядел накрытый к ужину стол. Видимо, оставшись недовольным, скрылся за дверью. Спустя несколько минут он вернулся нагруженный чем-то объемистым, аппетитно пахнущим чесноком и перцем.

… Первый тост произнес Баблоян. Говорил он пылко, «зажигательно». По всем правилам заправского тамады.

Арам Ильич слушал его рассеянно. Силился вспомнить имя гостя.

После добрых слов, адресованных «провинившимся» композиторам, Манук приложил руку к сердцу и торжественно, словно произнося клятву, сказал:

– Пусть Бог меня покарает, если я – Манук, не…

Арам Ильич еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Он тут же подписал фотографию и вручил повеселевшему тамаде.

… Всю ночь Хачатурян рассказывал о задумке написать балет «Спартак». Проигрывал на рояле «куски замысла», под восторженные возгласы Мурадели:

– Надо же!. . Вот здорово!. . Браво, старик, браво!..

Вано Ильич был «не по времени» оживлен, весел.

– Чему это ты так обрадовался, Вано? – раздраженно спросил его Хачатурян.

– Как чему?. . «Волею партии» я оказался в одном ряду с вами… Подумать только – Мурадели, Прокофьев, Шостакович, Хачатурян… Недаром говорят: большевикам ничего не стоит в мгновенье человека превратить в гавно, а гавно – в человека!

* * *

Спектакль «Дон Кихот», вернее традиционный просмотр в Вахтанговском «для пап и мам» шел при переполненном зале.

Трудно описать восторг, который сопутствовал этому удивительному праздничному зрелищу. Успех, который выпал на долю Рубена Николаевича Симонова.

… Заключительная сцена спектакля. Дон Кихот – Симонов – на смертном одре. В глубине сцены, по серебристо-се-рому заднику, медленно опускается огромный оранжевый диск

– фанерное солнце.

Симонов – весь внимание. Он выдерживает долгую пау-

зу (в тот лень она длилась полторы минуты). Ждет, пока солнце скроется за горизонтом, чтобы произнести свою заключительную фразу:

– Солнце село!. .

И… умереть.

А солнце вдруг закачалось, заскрежетало и… остановилось. Что-то, видимо, не сработало, разладилось.

Зал притих. Замер.

Назревало непредсказуемое.

И тогда Симонов невозмутимо поднялся со своего ложа, подошел к заднику, распутал тросы, «высвободил» солнце, которое снова, привычно поползло к горизонту.

Рубен Николаевич победно оглядел притихших зрителей и «пронзительным шепотом» произнес свое:

– Солнце село!. .

После продолжительной паузы, зал взорвался шквалом аплодисментов.

Зрители стоя скандировали:

– Си-мо-нов!. . Си-мо-нов!. . Си-мо-нов!. .

* * *

Премьера «Маскарада».

В зале царила праздничная, в то же время сдержанно-тревожная атмосфера. Москва «угадывала» неизбежность надвигающейся беды…

Перед началом представления в зале звучала в записи музыка Хачатуряна. Звучала приглушенно и… тревожно. Во всяком случае, так нам казалось.

Ждали Молотова. Этим объяснялось «обилие» рослых «одинаковых» парней, в одинаковых коверкотовых костюмах. Молотов не приехал (видимо, ему было не до «Маскарада»). «Одинаковые» парни, словно по команде, покинули театр. Зал наполовину опустел. Это не на шутку встревожило присутствующих. В городе ходили слухи, что фашисты «запланировали» вторжение в Россию именно в июне.

Однако, это не помешало зрителям восторженно встретить спектакль. Долго не смолкали аплодисменты. Артистам дарили цветы…

После премьеры ужинали у Аллы Казанской – Нины.

Провозглашали тосты.

* * *

Рубен Николаевич читал Пушкина. Пел под аккомпанемент гитары сына – Жени, свой любимый романс «Средь шумного бала…»

До утра двадцать второго длилось это яркое, театрализованное торжество.

Откуда нам было знать, что в эти часы гитлеровцы бомбили Киев, Севастополь, Житомир, Каунас…

Что началась война.

Губен Николаевич репетировал «Дорогу победы» Владимира Соловьева. Сиену эвакуации столичного завода-гиганта на Урал.

… Тихий подмосковный полустанок. Где-то поблизости рвутся снаряды. У демонтированных, наспех упакованных станков, вот уже который день «загорают» герои пьесы, в ожидании обещанных теплушек.

Ворчат в стихах:

«… Возьмешь газету – мы уже в Берлине.

Отложишь в сторону – фашисты под Москвой».

Стихи никудышные. Сиена вялая.

Симонов мучительно ищет «ключ к эпизоду». И, конечно же, находит. Из фанерного раструба-громкоговорителя, вместо запланированного сообщения о том, как: «ефрейтор Иванов взял в плен семь немцев»… – а войска наши тем временем оставили Смоленск… – теперь звучал романс Чайковского «Средь шумного бала…» Любимый романс Рубена Николаевича. Он мгновенно преобразил сцену – сделал ее удивительно емкой, неоднозначной, «глубинной»…

Романс в исполнении Козловского звучал «с хрипотцой», воспроизводимый с надтреснутой пластинки – звучал «по-домашнему», знакомо, сообщал сцене «личностность», что ли, теплоту и грусть. Своим «несоответствием» тому, что происходило на сцене – делал ее «пронзительной», щемящей, озабочивающей….

Озабочивал он не судьбами «всех» эвакуируемых вместе взятых – всего «коллектива в целом» (как это предлагалось пьесой), а каждой судьбой в отдельности. Судьбой каждого, кому предстояло испытать далекое, неведомое, многотрудное Время.

Одолеть, осилить Беду.

* * *

– И все-таки тебе сегодня придется побриться, – придирчиво оглядев меня с ног до головы, сказал Эдвард Ходжик.

– С чего бы это, что-нибудь стряслось?

– Мы приглашены на обед в добропорядочный репатриантский дом, к молодому ученому из Каира – Айку (Ходжик назвал ничего не говорящую фамилию). Обещали отличный кофе, увлекательную беседу и… пение жены.

Ходжик скорчил брезгливую гримасу:

– Пение жены… Это, пожалуй, единственное неприятное испытание, которое нам предстоит выдержать. Терпеть не могу музицирующих домохозяек.

… Кроме нас в числе приглашенных к обеду оказались писатель Гарегин Севунц, художник Хачатур Есаян и еще две незнакомые, жеманные не по возрасту, разговорчивые дамы.

Радушные хозяева делали все возможное, чтобы доставить нам удовольствие. Молодая хозяйка, которая вот-вот должна была стать матерью, проворно хлопотала у стола. Одно замысловатое блюдо сменяло другое. Провозглашались длинные

восторженные тосты.

Айк поминутно просил жену спеть. И каждый раз, когда та отказывалась, Ходжик тут же советовал «не утруждать будущую

мать».

Айк, однако, проявил завидную настойчивость, и жене пришлось уступить.

И тут произошло неописуемое.

«Музицирующей домохозяйкой» оказалась… Гоар Гаспарян.

Нетрудно представить наше изумление и то огромное наслаждение, которое доставило нам ее пение.

Так, сами того не подозревая, мы, волею случая, стали чуть ли не первыми ереванскими слушателями этой удивительной певицы.

* * *

В конце сороковых годов на нашей студии снимались только документальные ленты. Снимали их тогда в огромном количестве. И не мудрено, что из журнала в журнал кочевали сюжеты, похожие один на другой, как две капли воды. Наиболее предприимчивые из нас, режиссеров, снимали, как правило, только героев сюжетов, их крупные планы. Общие же планы городов и сел, заводов, колхозов брали из старых журналов.

Обеспокоенный этим, министр кинематографии Андраник Шагинян издал приказ, запрещающий пользоваться, без особого на то разрешения, фильмотечными кадрами.

Снимал я тогда очерк о проводимых в Ереване Всесоюзных легкоатлетических соревнованиях. Во время монтажа фильма, обнаружилось, что, как это бывает обычно, не хватает кадра – общего плана зала оперного театра, где вручались награды победителям соревнований. Не задумываясь, я взял недостающий кадр из первого попавшегося журнала, будучи в полной уверенности, что никто этого не заметит.

После просмотра фильма меня пригласил к себе Шагинян:

– Приказ мой не выполняешь, – сказал он мне. – Монтируешь старые кадры.

– Что вы, Андраник Христофорович, очерк событийный, ничего подобного раньше не происходило в Ереване.

– Речь идет об общем плане…

– А-а… Я туг ни причем. Операторы не балуют нас новыми точками.

– Это ты брось! – перебил меня министр. – Не был я в тот вечер в зале. А у тебя – сижу в первом ряду и чему-то улыбаюсь…

* * *

– Вы от художника Арутчьяна? – спросила секретарша редактора, взглянув на рисунок, который Валя Подпомогов держал в руках.

– От Арутчьяна, – соврал я.

… Редактор долго, придирчиво рассматривал карикатуру. Он машинально расставил недостающие в тексте запятые и, не глядя на нас, сказал:

– Передайте Сергею Аветовичу, что рисунки дадим в завтрашнем номере.

– Вы действительно его напечатаете?! – одновременно спросили я и Валя.

Редактор удивленно посмотрел на нас поверх очков:

– Действительно. А что?. . Есть возражения?

Он только теперь заметил подписи под карикатурой.

– Да-а…

Редактор махнул рукой и… размашисто написал на обороте рисунка – «В номер».

На следующий день мы, дрожащими от волнения руками, развернули «Коммунист». На первой странице газеты бесчинствовал «наш» Трумэн. Он злодейски пытался поджечь «факелом Герострата» земной шар…

* * *

Осенью сорок восьмого мы с Эразмом Мелик-Карамя-ном снимали фильм о профессоре Манасаряне. Том самом, кто первым «замахнулся» на Севан.

При встрече с нами, ученый показал копию прошения наместнику Кавказа Воронцову-Дашкову, в котором он предлагал «расширить русло реки Занги, дабы умножить сток озера Гогча, и направить воды оные в засушливые районы Арарат-

ской равнины».

На прошение студента наместник высокомерно начертал:

«Милостей природы следует добиваться упованием на бога, а не бредовыми проектами господ студентов. В Российской империи реки будут течь туда, куда им положено!»

– Об этом мне сообщили в письме из канцелярии наместника. К сожалению, письмо не сохранилось, – виновато улыбнулся Манасарян.

– Ну это не беда, – Эразм Александрович хитро подмигнул мне, – дело это поправимое…

Мелик-Карамян незамедлительно занялся, как он выразился, «восстановлением факта» – изготовлением письма.

Где-то в архиве он раздобыл подлинный бланк канцелярии

наместника Кавказа, отпечатал текст письма на машинке со старым шрифтом.

За начальника канцелярии подписался бухгалтер студии Мигран Христофорович Сагателян, владеющий редкостным в наши дни каллиграфическим почерком.

Спустя год мы обнаружили этот документ в одной из московских газет, в подборке, посвященной строителям Севано-Разданского каскада.

Письмо это, став таким образом «историческим», затем не раз публиковалось на страницах различных изданий.

* * *

В 1959 году я экстерном заканчивал Ереванский театральный институт.

«Роль артистов театра имени Сундукяна в развитии армянской художественной кинематографии» – так была сформулирована тема моей дипломной работы.

Дни шли, а работа не складывалась. Не получалось начало.

Не доставало, как мне казалось, толкового письма. Ну, скажем, письма Ованеса Абеляна к Бекназарову.

Таким оно могло (вернее, должно) было быть:

«… Вы, очевидно, удивлены моим столь поспешным согласием сниматься в Вашей ленте. Что заставило меня, убежденного «киноненавистника», принять Ваше любезное предложение и попробовать свои скромные силы в новом для меня искусстве – слова Белинского: «Сценическое искусство есть искусство неблагодарное, потому что оно живет в минуту творчества и могущественно действуя на душу в настоящем, оно неуловимо в будущем!..» И еще, главное, желание сделать талантливое творение Ширвана достоянием миллионов, это возможно лишь средствами кино…»

Первым прочитал мою работу Левон Калантар.

/- А письмо Абеляна ты придумал?. . Верно ведь – придумал?. . – расплывшись в хитрой улыбке, спросил Левон Александрович.

– Придумал, – признался я, – выкинуть?

– Почему же… Сделай сноску – «Из личного архива Бекназарова». И пусть маловеры ищут его.

Левон Александрович, не разжимая губ, беззвучно рассмеялся:

– Убежден, письмо это ты еше не раз встретишь в научных исследованиях.

Так оно и случилось. Пять лет спустя в одном солидном издании я прочитал «письмо Ованеса Абеляна» со сноской – «Из

личного архива Бекназарова».

Автор публикации был точнее меня. Он указал дату письма – «23 марта 1925 год. Тифлис».

* * *

В числе «главных действующих лиц» фильма «Пленники барсова ущелья» был и… огромный бурый медведь – Потап. Выловили его в Уссурийском крае и доставили в альпинистский лагерь «Домбай», где снимались натурные эпизоды картины.

Медведь оказался на редкость смышленым и добродушным существом. Он сразу же подружился с нашими маленькими артистами. В свободное от съемок время Потап резвился с мальчиками, ел прямо из их рук, бродил с ними на поводке по лагерю, вызывая восторг и изумление альпинистов.

Незаметно пролетели два месяца напряженных и трудоемких съемок. Наступила пора расставания с Потапом. Решили выпустить его на волю – в Тиберданском заповеднике обитало множество медведей.

В дождливый сентябрьский вечер мы отправились в обратный путь – в Ереван.

Долго бежал за караваном удаляющихся машин Потап. Протяжно выл, как нам казалось, прощался со своими маленькими друзьями.

Машина прибавила скорость. Потап отстал, скрылся за поворотом.

В дороге нас застигла гроза. Неистово гремел гром. Дождь лил как из ведра.

Заночевали в маленькой уютной гостинице близ Тиберды.

Утром мы стали свидетелями удивительного зрелища. В кузове грузовика, прижавшись к борту, сидел весь вымокший Потап. Он ночью, в грозу, под проливным дождем пробежал около двадцати километров, разыскал нас, взобрался на грузовик в надежде, что мы сжалимся и заберем его с собой.

Увидев нас, Потап радостно заурчал. Его укоризненный взгляд, словно говорил: «За что вы это так?. . Что я вам сделал плохого?..»

В Ереване Потапа поселили на студии. Несмотря на свою кротость и добродушие, медведь приводил в ужас даже «ушлых» киношников. Пришлось определить его в зоопарк (не помогли слезные уговоры мальчишек).

Потапу было разрешено общаться «на воле» со своими маленькими друзьями. К всеобщему восторгу посетителей зоопарка, медведь многие часы проводил в обществе ребят – иг-

рал в перегонки, боролся с мальчиками, забавлял их нехитрыми трюками…

Простившись с друзьями, Потап «по своей воле» отправлялся в отведенный ему вольер, сопровождаемый завистливыми взглядами его обитателей – местных, низкорослых, «армянских» медведей.

Продолжалось это недолго. Однажды Потап, защищая беднягу-медведя от озверелых «родичей», ввязался в драку. Случилось непоправимое. Злобная, кровожадная, не помнящая родства свора набросилась на Потапа. Тот сражался отважно, по-рыцарски. Однако бой был неравным. Озверелая косматая свора насмерть загрызла нашего доброго друга.

Так печально закончилась эта удивительная история.

* * *

Мартирос Сергеевич Сарьян любезно согласился принять участие в съемках киноочерка об армянских художниках.

– Заодно и попишу, -сказал он. – Где решили снимать?

– В Гарни.

– Ну и отлично. В пять утра жду вас. В Гарни поразительные рассветы. Да, я уговорил поехать с нами…(Мартирос Сергеевич назвал известного художника).

В Гарни успели к восходу.

Первым из машины вылез «известный художник». Прихватив складной мольберт, этюдник, он устремился в горы. Долго метался он со своим «хозяйством», взбирался на отвесные ска-

лы, спускался в ущелье. Устанавливал мольберт, раскрывал этюдник. Щурился. Что-то бормотал себе под нос… И начинал все сначала.

Тем временем Сарьян, не отдаляясь от машины, поглядел вправо от себя. Лицо его расплылось в довольной улыбке. Он без промедления приступил к этюду. Закончив первый, мастер поглядел влево, снова улыбнулся и принялся за второй…

«Известный художник* все еще искал «свою точку».

… Поздно ночью мы возвращались в Ереван (нас пригласили на шашлык). Сарьян вез с собой пять отличных этюдов. Мастер восторженно хвалил натуру, свои этюды, поездку, наше общество, шашлык…

«Известный художник» всю дорогу ворчал. Ему так и не удалось отыскать ту самую – «оптимально выразительную точку».

* * *

Умер армянский художник.

Минае и другие молодые друзья покойного посчитали, что прощальное слово должен написать Сарьян.

… Мартирос Сергеевич долго внимательно рассматривал фотографию художника, словно видел его в первый раз:

– Армянин?! Конечно же – армянин… Глаза «по-армянски» грустные… Умные, красивые глаза…

Сарьян отложил фотографию и стал разбирать папку с рисунками.

– Мартирос Сергеевич! Некролог ждут в редакции, – напомнил мастеру Шаэн Хачатрян.

Сарьян снова стал рассматривать фотографию:

– Видно, добрый был человек… Глаза, глаза-то какие…

Он явно не торопился. Однако натиск молодых был неотразим. Сарьяну пришлось сдаться.

– Набросай текст, – сказал он Шаэну.

Через четверть часа некролог был готов. Сарьяну осталось подписать его. Но не тут то было. Сарьян трижды вслух перечитал текст. И опять… обнаружил в чертах покойного «армянскую грусть».

– Видно, много повидал на своем веку этот человек… Настрадался. Царство ему небесное…

Сарьян неуклюже, «по-детски» хитрил. Присутствующие делали вид, что не замечают этого.

Молчали. Ждали.

Первым заговорил Минае:

– Варпет, в редакции ждут…

Мартирос Сергеевич обреченно вздохнул и… подписал текст.

Минае и Шаэн поспешили к выходу.

Их остановил окрик Сарьяна:

– Стойте! Стойте!. . А вы уверены, что этот человек действительно скончался?. . Может, жив еще?. . А мы торопимся его отпевать…

Он вырвал из рук Минаса некролог и запер его на ключ в ящике письменного стола.

Некролог подписала «группа товарищей».

Сарьян никогда не делал того, чего не хотел.

* * *

По сценарию «Новый дом» (авторское название «Песни первой любви») певец Арсен Варунц уходил из дома. Уходил навсегда. Терял голос. Спивался. Бродяжничал. Побирался…

Кроткая, любящая жена Рузан гнала его от себя, по

свидетельству авторов сценария, «мучительно боролась сама с собой», побеждала в себе ту, что послезливее, пожалостливее и… выходила замуж за добропорядочного, «положительного» архитектора Варужана Манучаряна.

Отец Арсена – Тигран Варунц, потомственный каменотес, добрый мудрый старик, что только не делал, чтобы возвратить сына на путь истинный. И так себя вел и этак. Ночами просиживал в ресторане, где сыночек «за стакан вина потешал честную публику».

– Постыдился бы, Арсен… Фамилию нашу позоришь. Ты Варунц, понимаешь, Ва-рунц!. . Предки наши храмы величественные воздвигали, города строили… – говорил он это и еще многое другое подвыпившему сыну. И все напрасно. Зарвавшийся сынок «катился по наклонной плоскости» с головокружительной скоростью, нисколько не задумываясь над тем, что он Ва-рунц!. .

Против такого хода событий вдруг ополчились все – ре-

дакторы, члены художественного совета, руководители студии, съемочная группа, актеры и, наконец, композитор Арно Бабаджанян, который (видимо, не читая сценария) написал для фильма веселую, бодрую песню.

Нам, в приказном порядке, предложили «изменить финал, переосмыслить поведение героя, вернуть его семье, обществу, искусству…»

Сделать это, когда до окончания съемок оставались считанные дни, было не так-то просто. Пришлось кое-что переснять. Кое-что перемонтировать, заново озвучить…

Изменили финал.

«Переосмысленный» Арсен Варунц возвращался на сцену. В большом, переполненном до отказа, зале пел он Рузан, ей одной, так сказать, в «публичном одиночестве».

Пел о любви, молил о прощении…

И Рузан, конечно же, прощала.

Чтобы окончательно свести концы с концами, оставалось «укротить» эпизод, за которым следовал финал. Эпизод этот, пожалуй, наиболее решительно сопротивлялся «переосмыслению».

– Ты хочешь, Рузан, чтобы Арсен вернулся домой? – спрашивал невестку старик Варунц.

Рузан отрицательно качала головой, резко перебивала его:

– Нет, нет! Он столько причинил нам горя…

О пересъемке сцены не могло быть и речи – огромная дорогостоящая декорация давно была разобрана.

Решили ограничиться переозвучиванием эпизода.

– Ты хочешь, Рузан, чтобы Арсен вернулся домой? – по-прежнему спрашивал невестку Тигран Варунц.

– Ла, да, конечно… Это ведь его дом… – отвечала теперь Рузан.

Что же касалось слез Рузан и отрицательного качания головой, решили – «зрители не заметят».

Расчет этот, однако, не оправдался.

Так «прочитал» этот эпизод один весьма уважаемый московский критик:

«… Судакова проявила умение неоднозначно решать предложенную сценарием тривиальную сюжетную ситуацию. Рузан приняла решение – Арсен должен вернуться. Она грустна, задумчива, все в ней сопротивляется этому вынужденному решению. Все, и прежде всего оскорбленное женское достоинство.

– Ла, да, конечно… Это ведь его дом… – говорит она, и лишь нервное подергивание плеч, едва заметное движение головы, непрошеная слеза выдают душевное смятение, напоминают о долгих мучительных раздумьях».

А мы-то думали – не заметят.

* * *

Если мне не изменяет память, в 1963 году это было, снимали на нашей студии фильм о Викторе Амбарцумяне.

Приехал как-то смотреть отснятый материал Виктор Амазаспович со своими коллегами-астрономами.

… На экране сменялись, вызывающие снисходительные улыбки ученых «научные» эпизоды, а затем фотографии созвездий, звездных ассоциаций, (не убежден, я их правильно называю), словом, фотографии звезд.

Отмигали кадры. В зале зажегся свет.

Ученые чем-то смущены. Переглядываются…

Виктор Амазаспович нарушает неловкое молчание:

– Можно, если это вас не затруднит, еще раз прокрутить материал?

И опять на экране Бюракан, ученые за телескопами и… фотографии.

Зажегся свет. И снова, неловкое молчание.

Виктор Амазаспович шепчется с академиком Маркаряном. Тот пожимает плечами, распускает нижнюю губу…

Присутствующий на просмотре художник Валентин Подпомогов, кажется, догадывается, что смущает ученых.

– Виктор Амазаспович, – обращается он к Амбарцумяну, – не новую ли звезду вы обнаружили на фотографии?

– Вот именно, как вы догадались?

– Кино-спе-ци-фика! -улыбнулся Подпомогов. – Фотографии ваши, простите, были плохонькие, серые… Вот мы и решили скопировать их… Прокололи на черной бумаге иглой

дырочки, видно, перестарались, вот и появилась лишняя звезда. Выходит, звезда Подпомогова…

Смеются ученые. А громче всех Амбарцумян.

– А вы знаете, не исключено, что такая звезда существует… И если она обнаружится, обещаем ее так и назвать – звезда, как вы сказали, Подпомогова?

– Валентина, – в тон ему отвечает Подпомогов.

– Пусть Валентина Подпомогова… Вы это несомненно заслужили г- каждому сколько-нибудь значительному открытию, как правило, предшествует толковая гипотеза.

* * *

Екатерина Фурцева – тогда министр культуры СССР – на совещании руководителей республиканских киностудий, обращаясь к директору «Арменфильма» Мхитару Давтяну, сказала:

– Политбюро одобрило вашу задумку снять фильм о славных нефтяниках Армении.

Давтян попытался возразить:

– Нефть не у нас… В Азербайджане… И, следовательно, нет у нас «славных нефтяников».

– Теперь уже ничего не изменишь. Я доложила Никите Сергеевичу. Ему эта идея очень понравилась. Придется вам, у себя в Армении налаживать добычу нефти… В широких масштабах, и… снимать фильм. Я договорюсь с руководством республики.

* * *

… Это были первые слова, которые произнес Никита Сергеевич Хрущев на армянской земле. Обращаясь к Якову Заробяну, тогдашнему первому секретарю ЦК КПА, Никита Сергеевич сказал:

– Ты, Яков, не забудь показать мне своих красавцев-коней.

Заробян не понял, о чем говорил Хрущев, но переспрашивать не стал

За обедом Никита Сергеевич вспомнил о своей просьбе:

– Яша, про коней не забудь.

Просьба эта крайне озадачила руководителей республики.

Каких коней?. . Где взять этих красавцев?. .

Кто-то вспомнил о «лошадях-пятиборцах». О них давно забыли – в республике стих бум пятиборья. Ютились эти животные в жалкой, неприглядной конюшне. Да и сами лошади не могли сойти за «красавцев», которых рассчитывал увидеть Хрущев.

И, когда Никита Сергеевич в третий, а затем и четвертый раз вспомнил о злополучных конях, Заробян распорядился привести в порядок конюшню. Отмыть и «причесать» кобыл на случай, если о них не забудет Хрущев.

В конюшню направили мощную технику. Отремонтировали «подъездные пути». Вывесили «патриотические» лозунги. Привели «в порядок» конюшню. Настелили, поверх многолетнего слоя навоза, асфальт…

Удивленных, вниманием к себе, лошадей отмыли, причесали.

О конях Никита Сергеевич, к всеобщему удовольствию, забыл. Вспомнил о них перед самым отъездом. Дружески похлопав Заробяна по плечу, Хрущев сказал:

– И опять я все напутал. Кони-то не у тебя, а в Киргизии…

* * *

Обедали в «Астории». Выпили больше обыкновенного.

В тот вечер мы были приглашены к друзьям – Вануниам.

… Таксист никак не соглашался посадить в машину больше положенного:

– Четыре! И ни одного больше.

После долгих уговоров, просьб и перебранок, нам удалось всем втиснуться в машину.

Таксист все еще бушевал.

Тиграну Мансуряну, который выпил больше других, пришла в голову «гениальная мысль». Он решил, чтобы досадить таксисту, всю дорогу петь «без слуха»… Рахманинова.

– Пусть подохнет, прохвост, от невыносимых мук…

Тигран, как мог, коверкал рахманиновский фортепьянный концерт. Стоило это ему немалых усилий – концерт «отчаянно сопротивлялся».

Таксист вдруг притих, весь превратился в слух. Он в такт пению Тиграна, барабанил по рулю машины.

Прощаясь с нами, водитель сказал:

– Зря я это базарил… Очкарик ваш здорово поет… Песня его за душу берет…

Он пожал Тиграну руку.

– Спасибо, друг, уважил. Порадовал хорошей песней…

А Тигран, по душевной простоте, думал что…

* * *

В 1978 году это было, в Москве.

Нам предстояло записать музыку к фильму «Снег в трауре».

Партию виолончели – ведущую в музыке к картине – Тигран Мансурян намеревался поручить Карине Георгиян. Карине, несмотря на занятость, согласилась – музыка Мансуря-на привела ее в восторг.

На Лиховом, инспектор оркестра назвал нам ничего не говорящую фамилию «назначенного» на запись солиста.

Тигран попытался возразить:

– Но, нам нужен мастер… Талантливый музыкант…

Инспектор-одессит не дал ему договорить:

– Ну если талантливый, да еще мастер… Езжайте в Израиль. Нынче все талантливые туда перебрались… Здесь одни русские остались…

Мы наотрез отказались от записи неизвестного нам музыканта.

– Смена отменяется, – бросил инспектор оркестру, за-

тем, обращаясь к нам, сказал. – Ждать новую смену придется две-три недели. Оркестр, сами понимаете, дьявольски перегружен.

Мы, конечно же, не стали ждать «две-три недели», а туг же позвонили Ермашу, тогдашнему председателю Госкино, и во всех подробностях рассказали о случившемся на Лиховом.

… На следующее утро оркестр в полном составе (сработала «комитетовская взбучка») ждал нас за пультами.

Играл оркестр отлично. Музыка понравилась.

После записи оркестранты долго, восторженно аплодировали Карине Георгиян, стучали смычками о пульты…

* * *

После премьеры пьесы Энтони Шеффера «Игра» в театре Станиславского долго не смолкали аплодисменты. Зрители шумно приветствовали режиссера-дебютанта, воспитанника Ереванского театрального института Юрия Рычкова.

По этому торжественному случаю в репетиционной театра был накрыт стол. Обилие водки красноречиво свидетельствовало о привязанностях станиславцев.

С напутственным словом к своему подопечному обратился режиссер Арташес Григорьевич Осепян.

– Запомни, Юра, – сказал он доверительно, – театр начинается с вешалки, понимаешь, с ве-шал-ки!..

Арташес Григорьевич выдержал долгую паузу. Затем его словно осдиипо:

– Советую тебе от всего сердца: Люби искусство в себе а не себя в искусстве…

Раздались жидкие аплодисменты. Голоса одобрения.

– Это ты здорово сказал, отец, с ве-шал-ки!..

– Именно, с вешалки.

– И надо же: люби искусство в себе… Браво!.. Браво!.. Все вдруг одновременно заговорили. И в этом месиве нестройных голосов, отчетливо слышалось:

– Ты меня уважаешь?. . Нет, нет, т-ты скажи…

* * *

В середине шестидесятых в Ереван на гастроли приехала известная французская эстрадная певица Рози Армен.

Как-то на съемке спросили у певицы:

– Как к вам обращаться, мадам или мадемуазель?

– Как вам будет угодно, – лукаво улыбнулась Рози. – И что за обыкновение у вас, ереванцев, задавать этот нелепый вопрос.

И, действительно, где бы мы ни появлялись с певицей, ее повсюду об этом спрашивали.

… Сарьян встретил нас в гостиной, стены которой были увешаны полотнами, излучающими (как и сам хозяин) тепло и доброту.

К столу подали фрукты.

Рози захлопала в ладоши:

– Натюрморт этот сошел с ваших полотен?

– Конечно, по случаю вашего приезда.

После небольшой паузы Сарьян спросил:

– Как к вам обращаться…

Рози еле сдержала смех.

Спустя неделю певицу принимал католикос Вазген Первый.

И опять:

– Как к тебе обращаться, дочь моя, мадам или мадемуазель?

Рози смиренно опустила глаза:

– Перед вами, как перед Богом… Я не замужем, но и, конечно же, не девушка… Так что, обращайтесь, как соблагоиз-волите…

* * *

Было это летом шестьдесят девятого. Мы – художники Минае

Аветисян и Роберт Элибекян, кинооператор Сергей Исраелян, писатель Агаси Айвазян и я – отправились в Тбилиси на выбор натуры картины «Хатабала».

Всю дорогу Минае рассказывал удивительные истории, окрашенные обаятельным, изящным «аветисянским» юмором.

На Севанском перевале забарахлил мотор нашего «Рафика». И мы вынужденно остановились вблизи «пасеки на колесах».

Предприимчивый пасечник, воровато поглядывая по сторонам, подсыпал в ульи сахарный песок, избавляя тем самым

своих «подопечных» от «хлопотливых» обязанностей.

Минае улыбнулся:

– Большевики всесильны… Лаже пчел умудрились превратить в бездельников, тунеядцев.

Спустя час мы ехали по пустынной, выжженной солнцем Казахской равнине.

Минае предложил нам сыграть в «Ослов». Он объяснил нам «правила игры» – двое играющих выбирают по одной из сторон дороги – один -правую, другой – левую, и… считают встречающихся на «своей» стороне ослов. Выигрывает тот, на чьей стороне повстречается больше четвероногих.

Неизменно выигрывал Минае:

– Пусть это вас не удивляет. Мне всегда везло на ослов.

* * *

В тот день нам предстояло отснять заключительную сцену фильма «Хатабала».

Ждали Минаса. Он еще утром должен был приехать из Джаджура – «благословить декорацию». Как всегда «приложить руку», нанести последние мазки (в самом прямом смысле

– Минае сам, собственноручно расписывал декорации).

Шли часы, а Минае все не приезжал. Съемку начали, не дожидаясь художника.

В полночь в ателье появился Минае. Мрачный, озабоченный.

Он сбивчиво рассказал, что приключилось с ним в пути.

В Джаджуре долго стоял он у обочины шоссе, пытаясь остановить попутную машину. И когда он окончательно отчаялся, к нему подполз огромный автокран. Водитель взялся довезти его до Еревана.

Не проехали они и двадцати километров, как огромная, многотонная стрела сорвалась с крепления и повалилась на кабину, где находились Минае и водитель, и рассекла ее на две равные части. Стрела «проскочила» в двух-трех сантиметрах от Минаса и крановшика. Обе половинки кабины с грохотом

повалились на асфальт, «подмяв» насмерть перепуганных Минаса и Геворка (так звали крановщика).

«Потерпевшие» с огромным трудом выбрались из-под обломков кабины.

В кромешной тьме, под проливным дождем, прождали они несколько часов, пока их не подобрала попутная машина…

* * *

…"Боинг", принадлежащий японской авиакомпании, пробежав по взлетной полосе аэропорта в Бомбее, плавно взмыл в бархатно-черное небо и взял курс на Калькутту.

Мы – группа советских кинематографистов, летевших в Токио, дремали в глубоких креслах, под неусыпным, «бдительным» оком Ивана Ивановича – «киноведа в штатском».

Поздно ночью, в наш отсек шумно ввалились из салона первого класса (мы, естественно, летели во втором) два подвыпивших широкоплечих блондина. Размахивая бутылкой «Мар-

теля», молодые люди, как показалось Ивану Ивановичу, «подозрительно» обрадовались нам.

– Братцы!. . Вот здорово… Мы из торгового представительства… Миша Дворецкий, а это мой коллега – Слава Ко-роблев… Мы оба питерские… Есть среди вас земляки?. .

Иван Иванович прошипел мне на ухо:

– Провокаторы. Типичная «подсадка». Советский человек не скажет – «торговое представительство». Торгпредство

– и все всем понятно. «Оба мы питерские», заметь – не ленинградские… Да и фамилии, какие-то несоветские, старорежимные… «Дворецкий»… С такой фамилией наши за границу не пошлют…

А тем временем, ребята со «старорежимными» фамилиями откупорили бутылку коньяка.

– Это чему вы так обрадовались? Проваливайте… Катитесь к тому, кто послал… – прорычал Иван Иванович и «командно» подмигнул Леониду Лукову. Тот, с удивительной легкостью, вскочил с кресла и, всей своей мошной тушей, навалился на «провокатора» Дворецкого и стал его дубасить. Мы последовали его примеру. «Операцией выдворения» командовал" Иван Иванович:

– Так их, братцы… чтобы другим неповадно было…

– Вы что это?. . С ума сошли… Вы что? – отбивались от подзатыльников, пинков в зад «торгпредовцы».

… На обратном пути из Японии группа наша три дня провела

в Дели. На приеме в Советском посольстве мы встретились с Дворецким и Короблевым.

Голубоглазые парни со «старорежимными» фамилиями, широко улыбаясь, шли нам навстречу:

– Рады вас видеть, друзья… Здорово вы тогда нас… Завидная бдительность…

Миша Дворецкий провел рукой по скуле, той самой, по которой тогда, в самолете, «съездил» Дуков.

* * *

На приеме в обществе «Япония – СССР» нас угощали традиционным саке. На небольших декоративных столиках с ажурными ножками – трехсотграммовые бутылочки слабой (по нашим меркам) рисовой водки. Обычно на приемах дегустация ограничивается одной бутылкой «на четверых». Но стоит гостям допить ее до дна, как тут же появляется другая. Но такое случается редко. Четыре японца, как правило, «косеют» после первой.

… Когда Валя Подпомогов, без особого труда, опорожнил… восьмую бутылку, у нашего столика замигали «блицы», защелкали затворами фотокамеры. Нас плотным кольцом окружили изумленные японцы. Валя же невозмутимо принялся за девятую…

Утром нас разбудил телефонный звонок. Звонили от Безрукавникова, просили срочно приехать в консульство.

Борис Васильевич Безрукавников, генеральный консул, человек огромного телосложения и столь же огромного обаяния, швырнул перед нами на стол кипу газет.

С первых страниц улыбался читателям Валя Подпомогов. Он сжимал в руке фужер с очередной порцией саке. Перед ним выстроилась батарея пустых бутылок.

Газеты на разный лад прославляли жирными заголовками «Чудо-русского», который «один выпил столько саке, сколько не в состоянии осилить пятьдесят японцев».

Увидев наше смущение, Борис Васильевич отобрал из кипы газет «выездные» и протянул их Вале:

– Дома похвастаешься… Чего скис? Все нормально… Пусть знают, что «мы все можем». Куда им до нас – кишка тонка.

* * *

Отель «Дели» поразил нас своим «пятизвездочным великолепием».

Однако в баре нас ожидало первое разочарование. Спиртное продавалось только по вторникам и пятницам. В остальные же дни недели строго соблюдался «сухой закон». Бармен-индус в ярко-красной чалме с холеной бородой, обрамляющей матово-смуглое лицо, жестами дал нам понять, что нарушение установленного в стране порядка исключено.

Валя не сдавался. На огромном зеркальном стекле стойки он изобразил фломастером «рассказ» (на подобие сюжетов Битструпа) о том, как получив виски, незаметно для стражей общественного порядка, проникнем в свой номер, «втихую»,

без свидетелей, при опущенных шторах, «раздавим» бутылку, а затем… на боковую…

Рисовал Валя «историю» во всех подробностях. С удивительной изобретательностью и юмором. Вокруг нас столпились «разноплеменные» и разноязычные посетители бара. Они громко смеялись. Наперебой комментировали рисунки. Щелкали затворами камер…

Бармен хитро подмигнул нам, отвел в сторону и, подумать только, вручил три бутылки отличного шотландского виски. Он наотрез отказался от нашей «складчины».

Три дня мы «нашармака» пили виски у гостеприимного индуса. На второй день к нам присоединился и Иван Иванович. То ли кончились у него запасы «отечественного коньяка», то ли он не хотел оставлять нас одних с потенциальными «врагами нашего государства», с «провокаторами и шпионами».

* * *

Ахпат. Полдень.

Монастырский двор залит ярким солнцем. По краю неба медленно ползут вздыбленные облака.

Гегам-бидза, монастырский сторож, косит рыжую упругую траву, буйно растущую на кровле храма Сурб-Ншан.

Старик замечает нас, расправляет спину, отбрасывает в сторону серп. Не спеша мнет сигарету и принимается за свой, словно только что прерванный рассказ.

– Как-то к нам в Ахпат приехал католикос Вазген Первый со своими, как их, епископами… Ходят по монастырю в черных рясах, качают колпаками, шепчутся, ахают – нравится, выходит, наш красавец… Я им рассказываю, так, мол, и так, о монастыре, значит, рассказываю. Не так, конечно, как вам – с религиозным уклоном. Довольны – кивают, улыбаются.

Задумал католикос у нас службу отслужить. Собрался народ. Все село пришло – от мала до велика. Запел католикос. Те, что в

рясах, подпевают. Кончил петь – захлопали ахпатцы. Смутились епископы, растерянно переглядываются… Ты что это? – говорю я Рафику, бригадиру, здоровенному детине, что хлопает громче всех, – не в театре небось… А что? – смеется бригадир. – Очень даже здорово поет старик, и песня хорошая…

Гегам-бидза улыбается:

– Вот так, значит, было дело… Запамятовали ахпатцы – что церковь, что патарак…

* * *

– Что ни говори, а человек существо тщеславное. Вот взгляните на эти могильные плиты – еще подобие свое толком изображать не научился, а туда же… Высечь себя на камне норовит. Личность сводз увековечить. Пусть потомки, мол, узнают, какой я был, как выглядел, какая у меня была физиономия… А выглядел он, если верить камню, скажем прямо – не ахти как, и физиономия у него была препротивная…

С этой, весьма своеобразной, оценкой средневековых надгробий согласиться трудно. Но спорить со стариком бесполезно. Да и говорит все это Гегам-бидза больше из озорства, желая позабавить нас.

– И что это я о могильных плитах разболтался? Да…

Гегам-бидза хитро щурит глаз, щетинит усы:

– Видите, вон ту могилу… Ту, у гробницы Курд-Ишха-на… Три года назад это было, заметил я как-то краешек могильной плиты. Принес кирку, лопату, раскопал. Читаю -

«Здесь покоится Арутин…» Дальше не разобрать, и год – «1787». Ай-та! Да это могила нашего Саяда, Саят-Нова, значит… Ну и отписал в Ереван, в охрану памятников – Котику, как его по фамилии?. . Начальником он у них… Так, мол, и так… приезжайте… Приехали – разобрались. Смеются. Напутал, говорят, старик – твой Арутин в 1787 году похоронен, а Саят-Нова, по всем законам науки, в 97 умер… Опередил, выходит, этот нашего… Эх, говорю, знал бы – принес зубило, молоток – исправил бы восьмерку на девятку, да еше в придачу кяманчу высек… Избавил бы вас от хлопот. А то все ищете, без толку ищете… Деньги казенные переводите…

* * *

… Было это дело, дай бог памяти, осенью шестьдесят девятого. В Ахпат к нам приехали ученые люди. Специалисты по старым карпетам, прялкам деревянным, битым глиняным

горшкам, прочей рухляди – рассказывает Гегам-бидза.

Слоняются по домам, высматривают медные позеленевшие сини, кувшины разные… Скупают весь этот хлам, не торгуясь… Что им скупиться – деньги казенные, не из собственного кармана.

– Вижу, вы люди ученые, – говорю я им. – Только вот в толк не возьму, что за наука ваша такая?. . Вот, к примеру, земляк наш Ашхарбек Калантар (мудрый был человек, не много теперь таких), здесь неподалеку разные там кувшины, монеты бронзовые из земли выковыривал. Так то была археология,

где

а ваша как называется?

– Эт-но-гра-фия! – поясняет лохматая девчушка в штанах.

Невестку мне такую, бедовая… Враз бы в хозяйстве навела порядок.

– Значит, кувшины старинные понадобились. Есть у меня таАэй, в сарае без толку валяется.

Принес я им кувшин. Обрадовались – аж глаза разгорелись:

– Откуда он у вас, дедушка?

– Женино приданое, – смеюсь я, – дед ее вылепил, мастер Аракел, отменный был гончар, один на все село.

– Какой еще там дед. Этому кувшину по меньшей мере две тысячи лет.

Тут подошла жена – не соглашается. Они – кувшину две тысячи лет. Она – дед вылепил, и дело с концом, весь тут разговор…

– А я молчу и думаю про себя – не могут ученые ошибиться. А что до моей старухи… Ну где ей помнить, откуда в дедовском доме кувшин этот взялся. Тут меня и осенило. Много лет назад археологи в наших краях вели раскопки. Кривой Енок, родной дядюшка моей нареченной, воду им на осле возил. Говорят, парень был нечист на руку. Вот и выходит… Словом, все могло случиться…

Я конечно об этом никому ни слова. Отвел старуху в сторонку и говорю ей:

– Постыдилась бы. Люди они ученые, им виднее.

– Это им-то виднее?! На моих глазах дед этот кувшин мастерил.

Старуха кивает на каменных ктиторов, что на фронтоне храма Сурб-Ншан:

– Ни Смбат, ни тем более Кюрике не дадут мне соврать.

– Ну ладно, ладно, какая тебе разница, – говорю я ей, дед твой вылепил этот кувшин, или две тысячи лет назад такой же добрый армянин – гончар, как дед твой, уста Аракел, вечная ему память.

Смотрю, Смбат и Кюрике вроде улыбаются. Одобряют, выходит, слова мои. Я и осмелел:

– Берите, – говорю, – кувшин, если нужен для науки, вот и дело с концом.

Глянул на жену – на ней лица нет.

Подмигнул я людям – для старухи, мол, говорю, всерьез не принимайте:

– Есть у нас с женой нижайшая к вам просьба: беспременно напишите в ваших ученых книгах, что кувшин этот вылепил мастер Аракел, гончар из Ахпата.

Поняли меня, улыбаются:

– Можете не сомневаться, мамаша, обязательно напишем.

Старуха от радости раскисла. Передником слезы утирает. Благодарит обманщиков бесстыжих.

А я думаю про себя, ловко с кувшином обошлось… И еше думаю о том, что правда, а что неправда… Выходит, как на нее посмотреть, на правду эту самую… С какого бока… Если, к примеру, по-научному…

Гегам-бидза махнул рукой и стал усердно мять сигарету. Мял долго, сосредоточенно. Потом закурил. Улыбнулся:

– А вот еще один случай, тоже по научной линии. Снимал в наших краях картину про Саят-Нову Сергей Параджанов, знаете наверное, шумный такой, непутевый… С бородой, как у покойного попа нашего, царство ему небесное. Это попу, конечно, царство… А Параджанову сто лет жизни.

Так вот, говорит он мне как-то:

– Гегам-бидза, может у кого в селе, что от Саят-Новы сохранилось. Утварь какая, что из одежды…

– Как нет, – говорю, – у меня самого его мангал припрятан, да еще в придачу три шампура. Особенные, кованые, с кольцами.

Параджанов оживился:

– Тащи, старик, мангал свой.

– Не мой, – говорю, – а великого поэта.

Завернул мангал, для пущей важности, в потертый кар-пет, повязал лентой. Понес.

Распаковали мангал параджановские бездельники (ассистентами они у них называются). Разглядывают, щупают шампуры – проверяют на прочность. Щурятся…

Параджанов смеется, показывает клеймо:

– А ты, старик, силен. Посмотри, что тут написано.

Глянул – мать честная! На лонышке мангала едва заметная блямба, а на ней надпись -«Алавердская артель бытовых изделий» (читается проклятая) и год указан – 1949-й.

Сами понимаете, неподходящий год для нашего Саяда. Кому

не известно, что родился Саят-Нова в тысяча…

– Словом, подвела на этот раз наука, – смеется старик, – та самая, как ее, эт-но-гра-фия…